

Ольга Балла

УПРАЖНЕНИЯ
В БЫТИИ

Москва



ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОВПАДЕНИЕ

2016

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б 20

Балла Ольга

Б 20 Упражнения в бытии. — М.: Совпадение, 2016. — 144 с.
ISBN 978-5-903060-98-6

Тексты, собранные здесь, писались в Живом журнале автора по адресу <<http://yettergjart.livejournal.com/>> и относятся к 2006–2007 годам. В тексте сохранена авторская пунктуация.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-903060-98-6

© О. Балла, текст, 2015
© Издательство «Совпадение», 2016

Упражнения в бытии

О карманной литературе

Дневник хорош тем, что его, в отличие от, допустим, романа, можно писать бесконечно, — да и читать бесконечно, с любого места и в любую сторону. Это же личная, собственная, карманная бесконечность. Как говорила Марина Ивановна Ц., «писать надо только те книги, без которых не можешь жить, короче — свои настольные». Я пишу — свои карманные.

О чувстве текста

А всё-таки возня с чужими многословными, аморфноватыми текстами кое-что безусловно даёт. Она воспитывает чувство текста, которое, между прочим, — одна из форм внутренней дисциплины: и души и ума, — и из важнейших. Формирует его буквально в кончиках пальцев. Отредактировав ТАКОЕ, сама так уже не напишешь. Это — мощная прививка от неумного, неконструктивного избытка. Начинаешь не просто ценить короткое до скупости, сгущенное, точное слово, но испытывать потребность в нём — как в воздухе. Лучше недосказать, чем «пересказать». Остальное читатель пусть в себе выращивает. Искусство письма — коли мы уж сегодня о разных искусствах говорим — это искусство нехватки.

Вот затем и стихи нужны. Они воспитывают уже самой своей формой; не дают смыслу расползтись, учат его укладываться и концентрироваться в заданных рамках. Чтение стихотворного текста уже само по себе, хоть немного, — отчётливый опыт структурности бытия и приводит душу в порядок.

О смыслах неорганизованности

А вот ещё зачем нужно, даже необходимо тянуть, транжирить, терять время, разбрасываться и запускать всё: не только потому, что это сладко и полнота жизни, это само собой, — а чтобы потом, в последнюю минуту, КАААААК собраться! КАААААК сконцентрироваться! КАААААК сделать всё быстро!.. Это же прямо изменённое состояние сознания. Включаются такие резервы психики (и соматики), о которых мы в случае регулярного и правильного образа жизни и понятия никакого не имеем. Не доведя себя до отчаяния, такой степени внутренней точности, такой внутренней скорости не достигнешь никогда. Никогда, повторяю, и «профессионализм» никакой не поможет, потому что это уже немного запредельное — тут надо пределы взломать.

О смыслах повторения

И ещё хочу, чтобы можно было путешествовать во времени (ладно, из соображений метафизической экологии я согласна даже на то, чтобы ничего нельзя было там менять, — хотя, впрочем, тут бы я ещё поторговалась с Высшими Силами) — и в своём собственном, и в Большом, выходящем за пределы моей жизни — и заново проживать какие-то ситуации, примерно так же, как мы многократно слушаем одну и ту же звукозапись или перечитываем книгу: каждый раз ведь хоть немного да иначе — «одно и то же», ложась на новый душевный материал, на новую внутреннюю ситуацию, каждый раз по-новому их организует, вообще, что-то новое с нами делает.

У человека есть всё-таки глубинная потребность в повторениях — ничуть не меньшая, чем в новизне (не говоря уж о том, что и повторение само по себе способно быть коли не источником, так стимулом новизны, раз в одну и ту же «матрицу» вкладываются, ища возможностей разместиться в ней, всякий раз новые содержания). Повторение — один из способов упорядочить нашу

душевную (да и прочую) жизнь, склонную к хаотизации, этим оно сродни стихам, которые уже одними только своими повторяющимися ритмами приводят душу в порядок — почти, а иной раз и вовсе, помимо слов. Или музыке с её повторяющимися структурами.

Я бы расширила репертуар повторяемого за счёт заново проживаемых ситуаций жизни — во всех их плотских подробностях: запахи, собственное телесное состояние и самочувствие, температура воздуха... Кажется, это бы многое дало.

О чужом

...да ВСЁ — чужое. (И, как таковое, должно бы восприниматься не иначе как с изумлением и обострённым вниманием.) Всё — чужое, включая то, что нам врождено — точнее, то, во что мы волею случая родились. Это «рождение в», вкуче с привычкой, скорее скрадывает неустранимую, коренную странность человеческих дел в нашем окружении, нежели помогает нам их понять и прочувствовать. Мы «просто» привыкли, но эта привычка — ослепление.

Об истоках консерватизма

Заведенный порядок жизни — тесно сплетенная сетка, которая удерживает нас над бездной.

В каком-то смысле поддержание, воспроизведение — на уровне мелочей — порядка жизни — самообман: уговаривание, заговаривание себя мелочами, закрывание себе ими глаз на эту самую бездну. Но не смотреть же в неё, не смотреть, когда время падать ещё не пришло! Да, иллюзия, но для чувства надёжности и защищенности иллюзии вполне довольно — а без него куда?

Потому-то мне всё меньше и меньше хочется (лучше: всё отчётливее, всё упорнее не хочется) нарушать порядок жизни: бездна близко. Всё ближе и ближе.

Вот она, основа старческого консерватизма. Формируется во мне прямо на моих глазах.

Пестование деталей. Каждая привычная деталь как бы подтверждает нам нас самих — «лишний» (на самом деле никогда не лишний!) раз. С приближением к смерти это становится всё дороже, каждая деталь — всё острее, всё незаменимее.

Оказывается, неправда, что с приближением к старости восприятие у человека — и жизнь в нём вообще — притупляются, гаснут. Нет, происходит что-то другое.

На днях вычитала в ЖЖ, — вычитала и прямо вздрогнула: «После тридцати жизнь в человеке засыпает». Во как! После тридцати! На самом деле я бы тут не обобщала: у меня, например, этого после тридцати не было (и сейчас нет), и, думается, не у меня одной. Но, может быть, это потому, что у «среднестатистических» посттридцатилетних жизнь обычно «устраивается» и делается привычной — приобретает (ясно, что обманчивую!) видимость рутины и всякого там «с нами ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдёт». У меня же она хоть в каком-то из традиционно главных аспектов непременно оказывалась «не устроена», и это постоянно «будило» меня. Жизнь моя была сплошной бессонницей — и снами наяву.

Видимо, наступает иная, чем в молодости, острота — и иначе распределённая. В молодости я не тряслась так над каждой крупинкой жизни и — в силу этого — уж и подавно не была склонна так, как сейчас, всё-подряд-всем-прощать (ведь прощение и прощание даже не родственны друг другу, а просто одно и то же, а я, конечно же, чувствую себя уже входящей в зону прощания — даже если она окажется очень большой). Сейчас я постоянно чувствую, как хрупка драгоценная ткань жизни, как она может порваться абсолютно в любом, непредсказуемом месте. Конечно, одно из имён этого чувства — трусость (сказать «тревожность» будет даже слишком комплиментарно).

И это всё при том, что у меня сейчас — явный прилив жизни: у неё ведь бывают приливы и отливы, и отливы бывали очень долгими. А сейчас пошло такое сгущение, что я, по тревожному

своему обыкновению, так и думаю: уж не перед прощанием ли? (Конечно, перед ним; ведь мы все — перед ним.)

Об освобождении от прошлого

Мест, свободных от моей собственной памяти, в Москве, кажется, уже не осталось. Этот город так перенасыщен личными смыслами, что в нём от самой себя буквально некуда деться. Нельзя столько лет жить на одном месте.

Понятно, что верный способ не стареть, не коснеть, а сохранять рост, гибкость и необходимую для них восприимчивость к новому — умение освобождаться от прожитого. Перемещение в пространстве — наверно, самый простой, «механический» способ такого освобождения. Но должны же быть и какие-то ещё!

Умение освобождаться от прожитого мне даётся, наверно, менее всего. Меня до сих пор преследует многое из пережитого в детстве; о том, что было, например, года три назад, и говорить нечего: это просто жгучая актуальность, которую впору чем-то глушить.

Это всегда казалось мне помехой взрослению, приобретению зрелости: неумение освободиться от молодости, от молодых реакций, трудностей... — в конечном счёте — помехой росту. Всё время таскаешь эту самую молодость в себе, вместо того, чтобы оставить её в прошлом и обживать новые возрасты и состояния. Избыток неизжитой (значит — косной, твердеющей) молодости и приводит к старости — к неадекватности и негибкости. Старость — в каком бы возрасте она ни случилась — это неумение жить «здесь и сейчас». Я этого не умела почти никогда.

Ещё о приметах взросления

Одно из освобождающих последствий старения — или, может быть, взросления, если предположить, что оно продолжается всю жизнь, чего я совершенно не исключаю, — ослабление чувства (вплоть до исчезновения его), будто я «упускаю» жизнь

(притом непременно в существенных её аспектах!), не находясь там, где меня сию минуту нет. Что «настоящая» жизнь вообще там, где меня нет, и что я в ней не участвую, и что это беда, и что я сама в этом виновата.

Ходячие стереотипы, как известно, гласят, будто «взрослый» человек живёт, ограниченный своим настоящим (соответственно молодой, становящийся — в будущем, а старик, убывающий, — ясное дело, в прошлом). Что-то, похоже, всё-таки есть в ходячих стереотипах — хоть и не всё. В прошлом я жила отродясь и вообще воспринимаю жизнь как сплошное накопление прошлого. А вот настоящее, похоже, начинаю чувствовать острее. Только не чувственно-эмоционально, как в молодости, а скорее метафизически.

Я стала жизнь, в её текущих, случайных, преходящих, обречённых формах, оправдывать (в юности, как водится, была большой категоричной нигилисткой, и вся эта текучесть-случайность скорее раздражала — уже хотя бы тем, что не совершенна и не вечна). Это всё, конечно, легко выводится из страха смерти — может быть, исключительно из него.

Теперь у меня, кажется, нет тоски по той (воображаемой) жизни, в которой я не участвую и тем самым её «упускаю». Нет у меня потребности в своём неизменном присутствии «где-то ещё». Вся полнота жизни помещается у меня теперь «здесь и сейчас» (включая всё воображаемое отсутствующее — его достаточно только воображать, совершенно не нужно в нём быть физически), не переставая быть полнотой жизни.

Я уже чувствую своё ближайшее окружение остро и подробно до неисчерпаемости, так называемую привычную повседневность — как чрезвычайно насыщенную и осмысленную буквально в каждой своей детали («чужое» — опустошено, «своё» — тем больше своё, чем больше насыщено). Отчасти это сопоставимо с тем, что было в детстве, особенно в раннем, когда каждая подробность бытия была крупна и значима, но только отчасти. (Как сказала процитированная не помню кем в ЖЖ старушка: «Деточка, не беспокойся: в старости всё будет как в детстве, только лучше».)

О пластичности

Нас воспитывает абсолютно всё, что мы делаем. Каждое движение; каждая мелочь способна впечатываться — да и впечатывается — в форму нашей личности, нашего существа. Человек сам, может быть, не чувствует пределов собственной пластичности.

О преодолении страха

Думаю, вот каким может быть один из путей к избавлению от страха (он, конечно, немного рассудочный, то есть заведомо неполный — ну что же делать. — Возможный выход: постараться пережить, прочувствовать это вполне себе умозрительное положение):

надо найти тому, что чувствуется страшным, место в структуре мотивов и смыслов своей жизни, понять «страшное» как органичную, неотъемлемую часть этой структуры. В этом случае есть шанс, что мы сами пойдём ему (страшному) навстречу.

Мы должны, иными словами, понять и прочувствовать необходимость этого страшного для себя. Понять его не как противоположность нам, а как часть нас — да и неотъемлемую.

Мы должны научиться жить с ним. Мы должны понять, что ЭТО не отменяет жизни (может быть, даже напротив: укрепляет, усиливает, увеличивает её) — даже если мы в результате этого умрём.

(Конечно, улаживание отношений со страхом — частный случай улаживания отношений со смертью. Но так — со всеми, подозреваю я, важными обстоятельствами и отношениями жизни. Жизнь — это сплошной диалог с Ней.)

О возрасте

Возраст — это ещё и постепенное отпускаяние на свободу и себя, и всего, что с нами связано. Первая половина жизни: набирание себе бытия во всех мыслимых формах, установление и формирование связей. Вторая: постепенное распутывание этих связей.

В неприменном-выяснении-всего-до-самого-конца есть какое-то насилие: и над партнёром по общению, и над собой, и недоверие к обоим: и к нему, и к себе. В первой половине жизни я люто въедалась в разные подробности бытия, в том числе и бытия отношений, анализируя: «во всём», дескать, «мне хочется дойти до самой сути». Теперь меня стал останавливать страх перед разрушением.

Это как-то связано с чувством, что никакая часть этого самого бытия — включая и любимого человека, включая даже нас самих! — никогда не будет нам принадлежать не только целиком, но даже, может быть, с достаточной степенью полноты. Что одно из основных свойств бытия — ускользание (та самая самодостаточность), и не надо его насиловать, а надо-де благословить, поблагодарить и отпустить. В отказе от «предельного» — до пределов достигающего — анализа есть и отказ от обладания: одна из форм смирения. А оно — одна из форм свободы.

Меня почти уже не мучает (ещё, кажется, в первой половине этого года мучило! ещё совсем недавно!) чувство «экзистенциальной недостаточности»: недостатка лично, с личным участием прожитого бытия. Уже почти не больно от солнечных дней, в которые со мной — и с моим активным участием — не происходит ничего крупного и значительного. Чуть-чуть только больновато. В молодости это просто выжигало огнём.

У души — тоже вопреки одному из ходячих высказываний — есть возраст. (Он небось и у духа есть, потому что возраст — это структура и форма, — не говоря уж о содержании, которое много чего определяет.) И уход молодости (и жизни) — это не только перераспределение чувств, но и их изменение, и их убывание.

Всё-таки чем ближе к концу, тем больше понимаешь, что лично твоя жизнь (которой к тому же становится всё меньше) перестаёт иметь значение сама по себе. Может быть, «сама по себе» она его имеет только в пору становления и прибывания — а может быть, и это только кажется. А теперь мы раздаём все наши значения, смиряемся с несбывшимся — и уходим. И это настолько нормально, что никакой трагедии.

Мы делаемся всё прозрачнее и прозрачнее (как в том сне, в котором в море света плавали, растворяясь, полупрозрачные предметы-тени). Сквозь нас, таких горячо-плотных в молодости, всё больше просвечивает мир-как-он-есть. Пока мы совсем не растворимся в нём.

В этом смысле, конечно, умирание (и смерть) не страшно: ведь не страшно же нам засыпать, особенно в конце долгого дня, когда от усталости нас клонит в сон, и приятно, и естественно поддаться ему, и мучительно не иметь возможность заснуть — вот так прожившего, изжившего свою жизнь человека клонит в смерть, и приятно, и естественно поддаться ей, и мучительно не иметь возможности умереть.

Убывание — это тоже интересно. Это тоже содержательно. Это ничуть не менее интересно и содержательно, чем рост. Честное слово. Разве что немного спокойнее по чисто «гормональным», что ли, причинам.

Я уж не говорю о том, что умирание — тоже форма жизни. Ведь пока мы умираем — мы живём, просто потому, что мы живём вообще каждое мгновение, и, что гораздо интереснее, в каждое из мгновений вся наша жизнь — с нами и в нас. Убывая в каком-то одном из смыслов, в другом она накапливается и оставляет нас — только вся сразу.

Роман с убыванием

В молодости был у меня роман с бытием, с жизнью, с книгами, с другими людьми, с самой собой. Теперь у меня роман с убыванием.

Кстати, этот роман способен точно так же отвлекать от делания необходимого, как все прочие.

Сезонные смыслы

Осень — счастье сама по себе. Настолько, что в ней, мнится, можно обойтись и без всякого другого счастья. Она сама, вся, всеми запахами, всеми оттенками света и цвета — какое-то очень несомненное свидетельство осмысленности и оправданности жизни. Осень — большое и спокойное «Да» всему. Всему, что уходит — во всяком случае. Всему, что остаётся — тем более.

Осенью хороши даже солнечные дни (с которыми у меня вообще-то трудные отношения). Сентябрь — непрерывная эйфория, которая и не думает отменять грусти, но прекрасно с ней уживается, сочетается и взаимоусиливается. Осенью хорошо ВСЁ.

Осень хороша и пронзительна уже хотя бы тем, что она — живое убывание и постоянное изменение, поэтому дорожишь каждой её секундой. (Она — свидетельство ещё и ценности жизни — в её, ясное дело, нераздельности с хрупкостью, обречённостью, исчезновением.) То, что летом казалось обыденным и плоским, осенью становится напряжённо-красивым, с некоторой, может быть, болезненностью и преувеличением, но это хорошо компенсируется осенним спокойствием.

А ещё осень — спуск к основам бытия. Летнее, наносное, суетное исчезает. Отсюда и осенняя грусть, и осенняя уверенность, и осеннее спокойствие. Осень — старый, грузный, тяжело дышащий лифт, спускающий нас к Корням Всего. Мелькают этажи в его решётчатых дверцах. Всё ближе Подвал. Подвал — ноябрь, Чёрная Осень. И в самой её черноте уже — обещание подъёма. Она поэтому — самое честное время года и самое радостное. Не лёгкой, сумасшедшей радостью весны, а другой: уверенной, глубокой, сильной. Чёрный ноябрь — распаханный, распластаный чернозём, дышащий и ждущий, когда в него будут брошены новые зёрна.

Проживший осень до конца с полным вниманием уже очень многое знает о жизни.

О метафизической оптике

Одно из самых, кажется, адекватных форм отношения к оформляющим, направляющим жизнь ценностям — угадывание. Рациональный анализ в свете этого — вещь глубоко вторичная. Вернее всего они угадываются по нашей собственной форме, по движениям нашего внутреннего существа. В каком-то смысле, несомненно, «вслепую» — но есть же у человека и внутренние глаза; более того, и у души — понимающей-воспринимающей части человека — есть «глаза» и внутренние и внешние. Рациональный анализ, проговаривание в тех или иных формах — это «глаза» внешние. Угадывание, «душевное осязание» — это глаза внутренние. Они видят инфракрасные и ультрафиолетовые лучи бытия — за пределами оптически-рационально воспринимаемого спектра.

Невроз интерпретации

Каждое наше действие может быть прочитано — и прочитывается — как высказывание. Как туго свёрнутое высказывание-кокон, которому ещё предстоит быть развёрнутым — и развёртывать можно по-разному: можно терпеливо, медленно распутывать, следуя вдоль естественных складок, их прихотливых и случайных извивов. Можно сразу скальпелем рассесть. А можно — так и оставить свёрнутым. И догадываться о том, что там внутри, по узорам и пятнышкам на внешней шкурке.

В нашей (обобщенно говоря, европейской) культуре накоплен превеликий потенциал интерпретационного насилия: большое количество интерпретирующих техник, позволяющих так или иначе совлечь с явления его оболочку-видимость и проникнуть к его «подлинной» сущности (которая потому и подлинна, что

скрыта; а внешнее уже потому и ложно, что внешнее). А главное — само представление о том, что такое проникновение — ценность.

Я бы даже сказала, что в нашей культуре сформировался своего рода невроз интерпретации: всё видимое, переживаемое непременно надо толковать — подозревать его в непрямоте, неполноте высказывания и выводить, непременно же, на «чистую воду».

Всякому человеческому действию, состоянию — всему человеческому вообще — следовало бы оставить право на недовысказанность, недопроявленность. Право остаться намёком, а не полным высказыванием.

Преследуется этим по меньшей мере две цели. Тому, что высказывается, предоставляется свобода (в том числе и свобода изменений: право перестать в любой момент быть тем, чем оно себя заявляло хоть бы и за минуту перед этим, и стать чем-то ещё, может быть — скорее всего! — никак не соотносящимся с нашими представлениями и ожиданиями). Тому же, к кому это хотя бы теоретически может быть обращено — ...тоже свобода: домысливания, внутреннего достраивания и тем самым внутреннего роста в самом же собой задаваемых (хотя и провоцируемых предметом восприятия) направлениях.

Что же касается «адекватности» / достоверности / точности понимания / внутреннего воспроизведения в нас предмета, то она — лишь частный случай всего многообразия возможных форм восприятия и моделирования, не самый большой по объёму и, хлеще того, подозреваю — не самый культурно значимый.

О невозможности спокойствия

Кажется, что сам факт конечности, обречённости всего должен бы обострять жизнь, делать невозможным не только отношение к чему бы то ни было как к рутине, но и равнодушие и, может быть, спокойствие вообще. Ведь всё — единственно и однократно, даже то, что постоянно повторяется, и проходит — исчезает — прямо на наших глазах.

Если всё воспринимать адекватно, то — только обострённо и экстаично. То, что люди, как правило, этого не делают, объясняется, кажется, одним: естественной ограниченностью наших сил. Если бы мы ВСЁ переживали так, как оно того стоит — нас бы разорвало. Наше «равнодушие» — естественное сужение душевных зрачков при режущем-ярком свете бытия.

О критериях оценок

А надёжнее всего значение для нас (ну, ладно, для меня, но обобщить же хочется!) чего бы то ни было определяется по некоему идущему из нас, изнутри — навстречу тому, что переживается — внутреннему движению. Оно-то, не имеющее ничего общего со словесными формулировками (зато очень определяющее и направляющее их), родственное скорее цвету или бессловесному звуку, и указывает, какое место в нас предстоит занять тому, что пытается оформиться в некое переживание — превращает его в факт опыта. Оно, вроде бы бесформенное (как, в самом деле, очертишь его границы?..), оказывается формообразующим. Образует в конечном счёте нашу собственную форму, которая и складывается из занявших своё место единиц опыта.

О производстве прошлого

Чтобы стать действительно Прошлым — «самим собой», — обрести цельность и собственные неповторимые интонации, прожитый кусок жизни должен в нас «отлежаться». Не просто отодвинуться от нас на некоторую дистанцию (само по себе это ничего не даёт, хотя одним из условий, пожалуй, и является), но именно отлежаться — и слежаться: выработать, вырастить в процессе этого якобы пассивного, «бессобытийного» лежания устойчивые связи между своими элементами, дать проступить на своей поверхности некоторым, вначале неявным,

краскам, которые позже будут господствовать в облике этой единицы прошлого. Чтобы набор изначально разрозненных элементов слепился в цельность, каждый элемент которой будет отныне означать все остальные (особая «голографичность» хорошо отлежавшегося, созревшего прошлого: в каждой его детали — оно ВСЁ).

Причём трудно — если возможно вообще — сказать обобщённо, сколько времени нужно на такое отлёживание: от нескольких часов до многих лет. Отлежится — и, созрев, проступает в нас, образуя неотъемлемый уже элемент среды нашей душевной жизни.

О символогенезе

Встречаются вещи — причём трудно с ходу назвать их неизменные родовые признаки, это может быть что угодно (например, запахи очень любят бывать такими, но также и некоторые сочетания предметов, свет, под определённым углом падающий на их поверхности...), — которые так и просятся стать символами чего-то: и приходится подбирать, нащупывать им «означаемое». Вещи, так сказать, с большим «символизирующим» потенциалом. Это — будущие символы, символическое «сырьё», заготовки. Они только ищут себе значений — и не факт, что найдут.

К энциклопедии запахов

Запах жареной картошки очень хорош, когда требуется душевное возвращение в посюсторонность и.. хотела сказать сиюминутность, ан нет: это скорее округлая, уютная, домашняя всевременность. Без грозных обертонов Вечности и совершенно без всяких метафизических перспектив. Под него, как под крыло, хорошо прятать голову. У него есть форма (она, повторяю, округлая) и чёткое послание: он сообщает нам, что всё на своих местах и всё будет хорошо.

Есть запахи, зовущие, тянущие нас за пределы самих себя. Этот — возвращающий. В нём всегда немного семидесятые годы. И старая квартира, непременно с высокими потолками, в которой давно не было ремонта. И дремотный, долгий вечер школьного дня позднего детства. И некоторая тупиковость этого медленного времени. Так что на самом деле это запах с довольно большой перспективой и богатой семантикой.

К антропологии вещи

Только сегодня хватилась, что, оказывается, потеряла одну вещь, жившую у меня совсем недолго (матушка из Праги прислала весной) и очень со мной сросшуюся: подвеску на шею в виде свившейся в кольцо змеи, на тонком кожаном ремешке (пошла в пятницу в магазин покупать свитер, да и забыла змею в примерочной кабинке — а не надо было снимать). Вещь совершенно ерундовая, и практической значимости-то никакой, но своей фактурой и пластикой так со мной совпавшая, что, казалось бы, просто предназначенная для нашей с нею долгой, интенсивной и естественной совместной жизни. И вот тебе.

Удивительно, думала я, что расставание с предметами может быть таким болезненным (а всё их символическая насыщенность, пусть даже имплицитная). Чувство буквально вырванного из жизни куска, нарушения собственного естества, экологических его равновесий. Утраты части себя.

У меня вообще трудно складываются отношения с вещами (мы с ними дичимся друг друга; я их плоховато чувствую, особенно это относится к предметам одежды и вообще всего надеваемого на себя, включая, например, очки — всего, чему предстоит образовать часть меня) — трудно до, иной раз, невозможности бывает найти свою вещь — оттого в моих отношениях с вещами слишком много вынужденных, вымученных союзов, явно безрадостных для обеих сторон. Тем труднее оказывается разрыв отношений с вещью, с которой они вдруг, редкостным образом, почему-то однажды складываются. Это всякий раз — серьёзная

прореха в бытии, которая долго зарастает и долго чувствуется, метафизический сквозняк и метафизический же холод.

(Надо ли повторять, что вещи оберегают нас от небытия? Они — стражи на границах между ними и Им. И вот — прореха в границе.)

(Странно, что отношения с книгами — как бы книга ни была сложна — устанавливаются почему-то неизмеримо легче. Неужели книги менее своевольны? Это книги-то, с их, по большому счёту, неисчерпаемой внутренней перспективой? Честное слово: каждая книга, вплоть до какой-нибудь «Куручки Рябы» — точка входа в бесконечность. Знаете ли почему? Как ни смешно, потому, что она состоит из слов. А слово — никакое — не сводится само к себе, существует в бесконечности во все стороны расходящихся связей. Читающий какую-то одну книгу в некотором смысле читает ВСЁ.)

И вот почему, при понимании и чувстве всего этого, мои отношения с книгами складываются не в пример легче и быстрее моих же отношений с бессловесными вещами? — этого я не могу понять. Наверно, у меня с книгами есть какой-то общий язык. Который остается общим при всех наших разногласиях.

Дожить до вечера

Отношения со смыслом отчётливо различны в разное время суток. Причём как со смыслом «вообще», «жизни вообще», каких-то не связанных с нами предметов, так и с живым, прихотливым, телесно-воплощённым смыслом собственной жизни. Днём (у меня, по крайней мере) — навязчивое чувство, что я теряю не то что даже время, а сам смысл (с которым оно в глубочайшем родстве: кажется, это две ветви одного и того же), теряю возможности наладить с ним отношения: днём и время и смысл рассыпаются, просыпаются в пустоту. Не то — вечер: в нём, кажется, нет ничего случайного (а всё «случайное», соответственно, так и норовит найти себе какой-нибудь смысл, врасти в какую-нибудь смысловую цельность). Вечером ничего

не теряется, он, густой, всё обволакивает и всё в себя вовлекает, каждая мошка обретает красоту и вечность в его янтаре. Вечером жизнь осмыслена и оправдана сама собой, уже потому, что она есть. Простейший способ оправдаться в собственных глазах — дожить до вечера.

Оправдание несоответствий

К сущности человека, помимо многого прочего, принадлежит неточность: принципиальная неточность, которую не способна — и не должна — заменять никакая точность (предмет человеческих вождлений, ценность из ценностей). Причём неточность по меньшей мере двойная.

Прежде всего, неточны сами идеалы (вряд ли те же древние греки узнали бы себя в той «античности», которой хотели подражать люди, скажем, эпохи Бонапарта, а те, в свою очередь, должно быть, в ужасе отшатнулись бы от настоящих греков). Кроме того, метя в (собственноручно сконструированный) идеал, человек никогда, по определению, с ним не совпадает, производя на свет взамен соответствия идеалу нечто совершенно другое — что и становится исторической реальностью и что без изначально «не так» выполненного задания никогда бы не возникло. Неточность = неправильность = несоответствие (искоренение которых, по идее, ставит себе задачей всякое сознательное воспитание, формирование человека) продуктивны как, может быть, ничто другое, причём на всех уровнях — от больших исторических предприятий до индивидуальных биографических проектов, которым тоже ведь нужны всякие «образцы».

Так что идеалы с образцами если для чего и нужны (а ведь нужны, нужны!..), то как раз затем, чтобы с ними не совпадать, отклоняться от них. Область нашего совпадения с ними наименее интересна.

Это всё, конечно, — разговоры с собственным навязчивым, поскольку (моё) несоответствие (идеалам, ценностям, образцам, правилам, нормам...) — из самого мучительного для меня

с начала жизни и до сих пор. (Я как раз из тех не слишком удачно устроенных людей, которые способны интенсивно задумываться лишь о том, что задевает их лично, если не сказать даже интимно. Результаты мозговых усилий могут иметь какой угодно отвлечённый вид, но корень у них неизменно один, скудненький такой, — личная уязвлённость.)

Олигография

А всё-таки писать надо мало. Согласна, пусть каждый день — для создания непрерывности (письменно выраженной, словесно оформленной) внутренней жизни. Но — крайне скупое (короткие тексты концентрируют смысл). Установить, может быть, жёсткий лимит на слова: не больше такого-то их количества (очень небольшого). Ну абзац, ну два, ну три. Но никак не страницами.

Это — чтобы не разбалтывался, не доходил до совсем-уж-автоматизма механизм словопорождения, чтобы преодоление порога между молчанием и словом всякий раз требовало хоть сколько-то заметных усилий. Чтобы всегда оставаться хоть чуть-чуть косноязычной — а слово (может быть, даже обозначающее вполне повседневные, вроде бы «маленькие» вещи) ощущать как событие. Чтобы не панибратствовать с ним.

Тогда есть небольшой шанс написать (следственно, и подумать: письмо — это способ мышления, не столько фиксации мыслей, сколько порождения, выработки их) хоть что-то значительное и содержательное. Надо, чтобы было трудно. Слова надо хоть немного, да бояться.

О достоверности

Не затем ли нужны кризисные ситуации, разломы повседневности, чтобы сломать инерционность восприятия человека (в которой он упорствует хотя бы из-за её удобства) — чтобы

через эти щели в нас входило надмирное? Пусть болезненно, пусть с нашим сопротивлением — ведь иначе не вместить.

И беды, и поражения (именно мучительно переживаемые, именно страшные) нужны за этим же. Старое-старое: они сокрушают нашу гордыню. Они открывают нам (внутренние) глаза на нашу несамодостаточность, на нашу вписанность в такой порядок бытия, который не на нас рассчитан. Тоже «болевое» зрение: иначе как болью, сопротивлением всего нашего маленького существа этого и не увидишь. Тут чем больнее, чем труднее — тем правдивее.

Честно говоря, по интуициям мне иной раз (часто!) куда ближе (естественнее, правдивее) кажется «ветхозаветная» версия грозного, непредсказуемого, ни-с-чем-нашим-не-соизмеримого Божества, чем христианский образ любящего и милосердного Бога. «Дикий» ветхозаветный Бог, который каждым Своим шагом устанавливает законы там, где их прежде не было, каждым шагом Своим связывает прежде не связанное — вот Кто — при всей Его заведомой непонятности — чувствуется мне в некотором смысле более «понятным». Господь сокрушающий.

Разумеется, я всецело готова признать, что это — вопрос индивидуальной восприимчивости и даже индивидуального воображения, к которому Он подлинный не имеет особенного отношения.

Свидетельства Его бытия — наша боль, наши невозможности, наши немощи, наши внутренние и внешние тупики. А не успехи наши, не торжество наше — в этих последних всегда есть что-то временное, уязвимое, хрупкое. Состояния устроенности, защищённости, «надёжности» — совсем небольшие островки в бытии, чтобы мы могли дух перевести. Беды же более надёжны. В них мы обретаем достоверность.

Поэтому, чувствуется, есть что-то очень мудрое в том, чтобы принимать беду и поражение: давать им состояться с нами, поработать нас.

К антропологии вещи

Вещь способна стать хорошим посредником в наших отношениях с миром и с самими собой — очень адекватным, иной раз просто незаменимым. Вещь — одно из самых важных средств создания нам «экзистенциальной оптики», нашей настройки на бытие. Мы с ними — не в отношениях владения, но в отношениях взаимообуславливания. Вещь иной раз (едва ли не постоянно) кажется мне (почти) самостоятельным началом в бытии, с собственной интонацией в нём.

Мы вступаем с вещами в (почти?) равноправный диалог. И в этом смысле, пожалуй что, они хоть в какой-то мере да «владеют» нами — потому что хоть в какой-то мере да определяют нас, диктуют или подсказывают, какими нам быть. Чувствуется даже, будто им стоит довериться — во всяком случае, некоторым вещам: безусловно есть вещи, которые — хоть в чём-то — мудрее нас.

Оправдание навязчивостей

Душевная жизнь необходимо строится (скорее уж растёт) с повторениями, с возвращениями к одним и тем же тематическим точкам. Их можно назвать точками возвращения или точками накопления (они же, пожалуй что, и точки интенсивности), потому что за счёт этих постоянных возвращений в них происходит накопление — если даже и не смыслов (хотя почему бы нет?), то, во всяком случае, — душевного материала. Постоянное «возвращение» — своего рода закон жанра, которому, думаю, не стоит противодействовать, выпрямляя траектории внутреннего движения. Эти точки способны быть и участками повышенной плодотворности.

Психогеографическое

Хорошо бы выстроить карту Москвы (когда долго, а особенно всю жизнь, живёшь в одном городе, он превращается

в проекцию твоей собственной личности, притом весьма, чуть ли не излишне, подробную) в соответствии с тем, какое из пространств оказывается «ключом» к каким из моих внутренних смыслов (в том числе и принимаемых за общечеловеческие).

Вот, например, в Москве есть места (разумеется, они могли бы быть и где-то ещё, просто Москва мною подробнее всего исхожена) с повышенной — для меня — «проницаемостью», где моя «метафизическая восприимчивость» отчётливо повышается: стенки осязаемого бытия тоньше обыкновенного. Пространства, переживаемые как места преимущественного (действенного, молчаливого, всем телом) диалога с образующими мир силами. Можно согласиться на более скептическую формулировку: места, где особенно разыгрывается «метафизическое воображение», за эту самую восприимчивость себя выдающее. Одно из таких мест, где земное-плотское бытие, не теряя своей достоверности и несомненности, тем не менее почему-то истончается и рвётся, как озоновый слой (бытие с «промывами» инобытия, как в пасмурном весеннем небе бывают «промывы» синевы), — окрестности метро «Тимирязевская»: некрасивое Дмитровское шоссе, далёкая от всякой цельной эстетики улица Костякова... Отчего это так — не берусь предполагать, но чувствуется неизменно. Это неудобное и остро-встревоженно-внимательное чувство. И неустойчивое: душа будто поставлена на ребро.

Есть в той же Москве и места (моей) повышенной метафизической «глухоты», снижения метафизической восприимчивости. Таково, например, почему-то Измайлово. Это пространство плотской подробности, пригнетающее к земле, несколько утяжеляющее, вязкое.

О потребности в неверии

У человека есть потребность не только в вере (иначе бы всё было слишком просто), но и в неверии.

Помимо потребности в Большой Опоре, в Верховном Ориентире, человек — по крайней мере, человек индивидуалистической

да ещё и пострелигиозной культуры, к которой я себя с полным основанием отношу — испытывает потребность в выгораживании себе как можно более автономного внутреннего пространства, в котором вообще ничто и никто ему не указ; места для непредсказуемых и нерегламентируемых внутренних событий. Потребность в отсутствии опоры, в безпорности, беззащитности как особом, ничем не заменимом виде опыта. Потребность в риске. Без этого, наверно, не получается в полной мере быть самим собой.

Бедами Господь переписывает нас набело. В разломы привычного нам бытия мы не то чтобы непременно видим божественный свет (слишком было бы легко; и потом, есть такая вещь, как ослеплённость несчастьем, за которую людей, включая и себя, никак нельзя осуждать — слишком она естественна), но, по крайней мере, получаем возможность его увидеть.

Чтобы беда действительно подействовала на нас — заставила по меньшей мере собраться, сконцентрироваться, начать прикладывать усилия, по большому счёту — пересмотреть всё своё отношение к себе и к жизни вообще, всю свою основанную на этом деятельность — она должна быть действительно бедой: уничтожающей, беспощадной, а не преходящим неудобством, которое мы, по изнеженности, принимаем за беду.

Только то поражение действует как следует, которое по-настоящему поражение, без оговорок, без возможностей к отступлению. Чтобы из нас действительно получилось что-то стоящее, может быть, мы должны быть разрушены до основания. «Задом» и узнаем, что является нашим основанием: то ли, что до сих пор хотелось, удобно было за него принимать, или что-то совсем другое.

(Слава богу, сейчас это не связано у меня с текущим опытом. Это скорее воспоминание — тоже очень навязчивое — опыта уже прожитого, попытка разместить кое-что в своих внутренних ячеках, изобрести ему смысл. Изготовление смысла — одно из обычных занятий человека, так сказать, повседневная индустрия.)

Я отдаю себе отчёт в том, что такие рассуждения, скорее всего, непролазный антропоморфизм; что если есть в бытии

некое Высшее Начало, вряд ли Оно соизмеримо с чем-то человеческим — то есть вряд ли Оно нам удобно даже в «гносеологическом» отношении. В данном случае это всего лишь метафоры.

Но мысль о Нём, о возможности Его проживания как личного опыта для меня — одна из навязчивых. Поэтому я даю ей думать так, как она думается — не слишком-то доверяя ни одному из её поворотов, но все их стараюсь учитывать. И вполне допускаю, что прояснение и осознанное проживание своих отношений с Ним — одна из сверхзадач человека, а может быть, и единственная его сверхзадача.

Всё чаще думается мне о том, что, может быть, подходы к её решению возможны на самых неожиданных путях, помимо колоссального слоя накопленных традиций — именно потому, что этих последних так много. Они «подсовывают» подозрительно много готовых решений.

А вдруг истина — в том числе и Истина — коварна? То есть — ускользает в тот самый момент, как только нам готово казаться, что мы её надёжно ухватили или вот-вот ухватим. Может быть, в число её (Её) тактик входит проблематизация всех наших надёжностей.

Может быть, теология (то есть осмысление и артикуляция религиозного опыта) сейчас может быть только «доморощенной»: не на исхоженных путях, а на окольных тропах; вырастающей из вроде бы слепого, вроде бы непредвзятого (на самом деле — ух как переполненного инерциями и неотрефлексированными условностями) повседневного опыта. Я потому и говорю о бедах, что они — места разрыва инерций. Разумеется, они не могут ничего «гарантировать» (предоставлением гарантий катастрофы вообще не занимаются). Они лишь открывают некую — очень травматичную — возможность, которую есть слишком много шансов не использовать.

...Всё-таки ценнее всего (мне) не спокойствие (даже — ясное, гармоничное спокойствие), а уязвлённость и неустойчивость. Они гораздо вернее — и шире — и принудительнее — открывают мне внутренние глаза.

Работа и я

А не преувеличиваем ли мы её, голубушку, как ценность (вообще эту самую постоянную занятость, которая претендует на то, чтобы делать жизнь осмысленной)? Совершенно очевидно, что преувеличиваем: и работу, и качество работы, и самореализацию эту несчастную, у которой работа с её качеством и объёмом — якобы один из самых верных и показателей, и средств достижения. Хлебнули-таки и мы «протестантской этики» как источника ценностей и ориентиров. Не поработаешь — не спасёшься. (И ведь как коварно всё это в человеке действует, обращая на службу себе все наши самые-самые сокровенные ценности: вот, нащёптываем мы (я) сами себе на ухо, кто много работает — тот улучшает-повышает своё человеческое качество, увеличивает интенсивность жизни; более того, чуть ли не — тогда только и живёшь по-настоящему, когда много работаешь... Отредактировала три статьи — вот тебе и настоящая жизнь, и полнота её, и оправдание!.. И остро-остро заточенной себя чувствуешь, как карандашик! Прямо катартическое действие, чуть ли не мистический опыт, прости господи. Это уже симптомы зависимости, однако — ничуть не хуже навязчивой тревоги, когда не работаешь: а что это я не работаю?! Время уходит зря!!!.. Это же одного порядка вещи. Ломка без «работы», как без наркотика.) Хотя куда очевиднее, что «работа» — вещь сугубо инструментальная. Спору нет, «экзистенциальную оптику» она нам настраивает: фокусирует нам внимание, задаёт угол, под которым мы видим происходящее с нами — да хоть бытие в целом. Работа — то закопчённое стёклышко, без которого нашим слабым глазам не взглянуть на солнце Бытия: режет, ослепнуть недолго.

Вообще в ныне действующей европейской традиции, к которой и мы принадлежим, отчётливо фетишизируются (переживаются с явным преувеличением их значения, с ценностной «перегрузкой») по крайней мере две вещи (явно не только эти две, но эти, наверное, в первую очередь): «работа» и «любовь». (Нынешняя рекламная индустрия заставляет причислить к числу таких фетишей ещё «наслаждение» и «сексуальность». Вообще неплохо бы

увидеть — наверняка где-то уже существует — систематический и умный анализ таких фетишей-преувеличений современной культуры.) С переоценкой любви в своё время очень дельно разбиралась Карен Хорни. С переоценкой работы наверняка тоже кто-то разобрался, просто мне, кажется, не подалось.

Работа, как всякий инструмент, ограничена; способна сужать (и сужает как миленькая) нам поле зрения, спасительно закрывает нам глаза на многие вещи, не попадающие в сферу её компетенции (отсюда и феномен «трудоголизма», когда человек под самыми благовидными предложениями этой самой работой ставит на себя заглушку).

...и наоборот

Работа — «дело связи». Ею мы (чем бы ни занимались) проживаем, создаём и отрабатываем свои связи с другими представителями рода человеческого — и тем самым утверждаем себя как такого представителя.

И ещё это форма концентрированного, сосредоточенно-интенсивного — если угодно, даже экстатического — проживания смыслов. Работа — специально организованное для такого проживания пространство. Это дом, «который всегда с тобой», панцирь, который мы носим на себе и создаём внутри него микроклимат.

Работа — заклинание действием. Себя и мира. Это простейшее, общедоступное и повседневно необходимое противостояние хаосу и преобразование ближайшего хаоса в ближайший космос. Маленькая карманная демиургия. Подтверждение своей человеческой природы (человеческое, в отличие от животного, существует только в усилии воспроизведения — нуждается в постоянном подтверждении, заново-воссоздании — может быть, оно вообще не имеет «массы покоя»: едва останавливается — прекращает быть. Ещё короче: человеческое — это усилие.

Из сказанного следует, что отношения мои с работой (увы?) — прежде всего, почти-почти исключительно — идеологические

(«зарабатывание денег» — это в какую-то уж совсем последнюю очередь). Говорю же — сильно преувеличиваем, и не думаю, что это всё персонально мои выдумки и что надо бы на самом деле вести эту речь в первом лице. Скорее всего, здесь с лёгкостью опознаются типичные культурные «топосы», вычитанные из книг, выдыханные из воздуха и усвоенные на правах собственных очевидностей, собственных до-мыслительных даже душевных движений. Если угодно, своего рода «комплексов».

* * *

Всё-таки не хватает ночи, чтобы жить. Днём — не то. Днём нет такого интимного внутреннего соприкосновения с жизнью. Днём вся «метафизическая физика» не та.

Самое лучшее время — раннее утро (по окраске и освещению ещё совершенная ночь), перед самым-самым (всегда вынужденным!) отправлением спать: самое яркое, самое уютное, вкусное, доброе, точное, бодрое. Это время, куда стекают самые сладкие остатки дня, самая его «эссенция». Это время, когда острее и полнее всего хочется жить.

Самое острое счастье — дожить до утра из глубины ночи. Тогда человек весь раскрывается изнутри, как огромный глаз.

Когда у меня нет возможности жить ночью, я в какой-то мере слепну. Меня просто становится меньше.

Днём — во многом вынужденное существование. Ночью — свобода.

Тринадцатое ноября

Может быть, люди только тогда могут вполне оценить настоящую степень своей близости и потребности друг в друге, когда любовь между ними (или безответная любовь кого-то одного из них — не так уж важно) — наваждение, претендующее на самоценность — кончается.

Десять лет жизни в режиме интенсивности как в норме. Такое даром не проходит, не может пройти. Вполне возможно,

только благодаря ему, безответному, я и знаю вообще, «что такое» любовь. Он мне, сам о том не заботясь, десять лет вырастил (с неминуемым раздираньем душевных тканей, но — так лучше помнится) душевные глаза на тех местах, где их раньше не бывало. То был великий урок видения и чувствования. Экстатичность размером в десять лет нужна была, чтобы победить мою косность, интроверсию и эгоцентризм: только благодаря этой «чрезвычайщине» я, кажется, и научилась по-настоящему чувствовать, кроме себя, ещё и кого-то другого — не как пресловутую «часть себя» (он, ускользавший, никогда ею и не был, и не собирался быть), а именно как Другого: в его суверенности (покушения на которую он воспринимал очень болезненно) и в отличиях от меня и всего моего (которые в случае с ним были совершенно непреодолимыми). Это был великий урок гибкости, смирения, самоотдачи и — что ещё того важнее — чувства пределов самоотдачи, умения остановиться у чужой границы (ох как не сразу я этому научилась! но боль, которую мне самой же пришлось испытать из-за этого неумения, вписала в меня чувство чужой границы самым нестираемым образом).

Все эти десять лет были сплошным воспитанием чувства Другого. Я бы совсем не сказала, что теперь оно у меня оптимально: оно полно всяких и перегибов с преувеличениями, и недочет. Но некоторая важная основа всё-таки заложена. Всеми, чему я учусь дальше, я учусь на этой основе и только благодаря ей.

Когда он кончился как наваждение, «вдруг» оказалось (на самом деле это было ясно уже тогда, просто принимать этого не получалось — не хотелось), что у этих отношений не было собственных, жизнеспособных содержаний. Именно поэтому мне и не хочется в них назад, и, несмотря на то, что это был один из самых значимых, интенсивных и подлинных опытов в моей жизни, я никогда — никогда — не тоскую по этому человеку. Настоящей близости и настоящей потребности друг в друге там не было и быть не могло.

Тем не менее — или как раз поэтому — воспитало и вырастило меня именно это.

Об искусстве дистанций

Близкие люди нужны (звучит чересчур прагматично, но что ж делать) ещё и для экономии душевной энергии, для «рационального» её распределения. Для того, чтобы мы на них концентрировались (заодно и — с полным правом на это) — не обременяя своим избыточным и неуместным участием так называемых посторонних. Одно из того, чему едва ли не всю жизнь приходится учиться — искусство дистанции и самодозирования.

Об экзистенциальной ущербности

Ко многочисленным делениям людей я, хронический любитель ситуативных классификаций, не могу не соблазниться добавить ещё и эту: люди делятся, в числе прочего, по типу «движущих сил». Кого-то может двигать та же лень (измыслить что-нибудь, чтобы усилия не прикладывать — а почему бы нет?! Мне такие вещи не даёт делать, пожалуй, прежде всего «гипероценка» усилия. Усилие — сверхценность. Скажешь слово «усилие» — так внутри себя по струнке и вытягиваешься), кого-то — честолюбие, кого-то — желание усовершенствовать мир или хоть деньги, наконец. По мне же усилия — едва ли не в первую очередь терапия чувства вины, и сверхценность их — тоже от него. Оно меня гонит, толкает, даже когда мне самой явно не хочется, заставляет землю гореть под моими пятками: не пойдёшь, не сделаешь — будешь виноватой!.. Даже не «перед кем» — это уже во вторую очередь, хотя «перед кем» всегда найдётся (была бы вина, а адресат найдётся), — а виноватой вообще, по состоянию, по качеству.

«Вина» в переживании этого типа — «экзистенциальная ущербность». Самые большие неудачи своей жизни я переживаю именно в модусе чувства вины (даже в тех случаях, когда всё произошло, казалось бы, по вполне «объективным» причинам): это-де я виновата, что оно так сложилось, потому что — экзистенциальная ущербность. Ловила себя и на том, что и любовь

(свою — к кому-то) ухитрялась (чуть ли не по сей день ухитряюсь) переживать в модусе чувства вины: «не всё»-де сделала для того, чтобы этому человеку было хорошо, чтобы создать ему полноту жизни; виновата в том, что влюблена и покушаюсь тем самым (хоть бы и невольно, хоть бы и только в мыслях) на его независимость и суверенность; ну и так далее.

Стыдно перед нищими в метро, даже когда совсем очевидно, что они профессионалы: всё равно стыдно. Стыдно (то есть ещё до включения критичности к таким душевным движениям — она, слава богу, включается, но тем не менее), что не объездила много стран: мало видела — сама виновата. Ну и так далее. Жизнь в свете этого — если постараться «эксплицировать» предпосылки такого переживания — выглядит как дар, за который надо непременно расплатиться (опять-таки неважно, «с кем / с Кем») достойным объёмом усилий и достойным качеством их результатов. Недостаточен объём усилий, недостаточно (хотя бы единственно по собственному внутреннему чувству) качество результатов — «сама виновата».

О части и Целом

Пытаясь объяснить в себе чувство вины, возникающее в самых, казалось бы, не располагающих к тому обстоятельствах, подумала, что за этим, пожалуй, стоит чувство этической значимости буквально каждого человеческого движения — поскольку всё имеет отношение к жизни (так ли уж преувеличиваю?) мирового Целого — к взаимоотношениям Космоса и Хаоса, порядка и распада. Любым движением мы можем либо поддерживать и воссоздавать порядок и жизнь, либо их разрушать.

Размашисто и необязательно

А вообще хочется жить размашисто и необязательно. И вся «дисциплина» обожаемая (и не достигаемая никогда)

нужна исключительно ради этого: чтобы можно было жить свободно (внутренне — а в этом случае, как именно внешне — почти и неважно. Скажем, так: хороша та внешняя жизнь, которая не мешает, а пуще того — способствует внутренней свободе) — не разлетаясь, не разваливаясь, а сохраняя внутреннюю цельность и упругость.

Ещё один из признаков внутренней свободы: это когда мы любую, хоть случайно, подхваченную мелочь можем внутри себя дорастить до чего-то значительного и / или соотнести с чем-то значительным. (Вообще есть такой особенный, отдельный талант: талант крупности — способность видеть и переживать всё происходящее в аспекте его значительности, умение это «поймать».)

Может быть, она и в том, чтобы даже от любого значительного — отойти.

И уж точно — отойти в любой момент от того, что претендует быть значительным для нас, — самостоятельно выбирая, согласиться на это или нет.

Об умозрении в ритмах

Структура петербургского пространства всегда казалась мне (сильно сомнительно, чтобы одной мне) очень родственной поэзии. Со стихами ведь то же: они в принципиально большей степени, чем проза (просто уже вследствие своей ритмической организации и повышенного «формального» — формой задаваемого — напряжения, то есть ещё до смысла), свидетельствуют о неслучайности бытия: просто дают пережить её непосредственно, как своего рода очевидность (будучи её живым воплощением), и подтверждают её, всякий раз заново воссоздают и укрепляют. В ритме есть что-то онтологичное (просто: ритм — онтологичен).

Имею сильный соблазн думать: подобно тому, как икона — «умозрение в красках», поэзия — уже чуть ли не самим фактом своего существования — «умозрение в ритмах» и даже чуть ли не богословие в ритмах, раз свидетельствует о неслучайности

и организованности бытия — о способности бытия к организованности и осмысленной интенсивности.

О петербургских пространственных ритмах и структурах мне кажется то же самое.

О счастье

В состав счастья как жизненного состояния непременно должны входить: (а) свобода (понятая не как отсутствие привязанностей / связанныхностей, но как внутренняя нестеснённость) и (б) отсутствие вины (чувства и понимания её).

(Вот, заодно, что такое вина: чувство + понимание того, что ты нанёс какой-то части бытия ущерб той или иной степени непоправимости [в сущности, ВСЁ непоправимо — чуть было не написала «неповторимо» — опечатка по Фрейдю. И неповторимо, да, даже то, что повторяется. Особенно то, что повторяется: в нём сильнее всего проступают различия]. А тем самым — точно тем же самым — и самому себе, ибо мы и мир, простите за банальность, не две разные вещи, но одно и то же. Просто одно и то же, и ничто сделанное в так называемом внешнем мире не остаётся без последствий для нас самих. Что бы мы ни делали, любым из действий мы что-то делаем с самими собой, и трудно сказать, что тут главное — пожалуй, главное и то, и другое.)

В известном смысле, пожалуй, невозможно не быть виноватым, и есть слишком много возможностей быть виноватым нечаянно, незаметно, против собственной воли. Но, похоже, иногда об этом можно забывать — тогда-то и наступает то самое состояние счастья.

В известном смысле мы все — узурпаторы в бытии, существа со «встроенной» виной, уже фактом собственного рождения что-то нарушили и ущемили, а потому очень легко воспринять (я и воспринимаю) собственную жизнь как «отработку» этой первичной, изначальной вины, восполнение того ущерба в бытии, того нарушения равновесий в нём, которые образовались с нашим рождением.

Так вот я о том, что в состав счастья, по моему разумению, входят:

(а) свобода,

(б) отсутствие жгучих, тяжёлых, сущностных форм вины (ибо какая-то есть всегда),

(в) согласие собственного существования с тем, что мы чувствуем главными смыслами своей жизни, и даже более того (собственного — недостаточно) — с тем, что мы чувствуем главными смыслами жизни вообще, бытия в целом.

Вот: счастье отличается от эйфории наличием смыслового компонента. Поэтому переживание осмысленности жизни — его неизменное условие.

Кажется, Монтень говаривал, что стремление к счастью — верный путь к тому, чтобы стать посредством (не помня твёрдо источника слов, упорно об этом думаю и ловлю себя на многообразном внутреннем сопротивлении этому).

(В амбициозной юности казалось: нет ничего хуже, чем стать «посредственностью», поэтому так и реагируется: слишком уж помнится. Рудиментарные смыслы.)

Во-первых, проблематично само понятие «посредственность» (подразумевает наличие неких точек отсчёта, которые всегда произвольны сами по себе). Во-вторых, проблематична постановка в качестве ведущей цели того, чтобы так или иначе смоделированной посредством не стать, а стать, напротив того, чем-то значительным и особенным (это достижимо разве что в качестве побочного продукта, мнится, а цели должны быть более существенные).

(В той же амбициозной юности думалось мне, что «человек измеряется значительностью целей». Чем дольше живу, тем заметнее сомневаюсь в том, что он вообще измеряется.)

В-третьих, как только мы вводим в счастье «смысловой» компонент, стремление к нему перестаёт быть уделом «посредственностей» — пустых, невыраженных людей (предположим, что такие есть). «Счастье» как состояние — внутренний «индикатор» нашего совпадения с чем-то (для нас) существенным,

нашего соответствия этому существенному. Поэтому имеет смысл говорить о стремлении не столько к «счастью», сколько к тому, на что оно указывает.

Забыла добавить, что три перечисленных его компонента — в сущности, одно и то же. Просто увиденное в разных ракурсах.

Может быть, стоило бы добавить ещё одно (но не следствие ли это, скорее, счастья, чем условие его?): цельность самоощущения, согласие и слитность разных своих сторон и частей, отсутствие разлада, зазоров и уж тем более конфликта между ними.

Об интересном

Поймала себя на том, что то, что не имеет (хотя бы потенциально) этического смысла, мне не интересно — то есть не вызывает внутреннего движения к себе, не интенсифицирует меня внутренне.

Но что не имеет его?!

Понятно, что не у всякого предмета этический смысл всякому виден и внятен. У меня, например, не вызывают интереса, внутреннего движения к себе математика и техника. И что, математика, выявляющая в мироздании порядок и смысл, лишена этического смысла?! Да быть не может. Просто я не умею его увидеть и пережить как личное событие, — вот что тут, наверно, важно. С техникой и подавно: у взаимоотношений человека с ней (через неё — с миром и самим собой) точно есть этические аспекты. Но я опять же крайне редко умею (иногда умею) пережить их как личное событие. Тогда скажем так: мне интересно то, что я могу пережить как личное этическое послание себе, которое, кроме того, представляется мне ещё и общезначимым.

Световая топография

Московские пространства (конечно, не только московские, просто Москву я чувствую подробнее всего) совершенно

явно делятся по производимому ими впечатлению на «светлые» и «тёмные», а ещё на «тёплые» и «холодные», «сладкие», «горькие» и «пресные»; «простые» и «сложные»; «высокие» и «низкие»; «выпуклые», «вогнутые» и «плоские». И мне почему-то кажется, что характер такого восприятия того или иного пространства не связан прямо (в крайнем случае — очень непрямо) с личным опытом, который нами в этом пространстве прожит.

Можно составить подробную «карту» такого рода, но вряд ли это кому-то, кроме самого составителя, будет интересно и понятно в развёрнутом варианте. Например: окрестности метро «Авиамоторная» (это даже какое-то болезненное пространство, меня там прямо ломает, чуть ли не температура поднимается), «Текстильщики», вся «выхинская» ветка — темным-темно, да ещё и горько (хотя и довольно тепло); «Электrozаводская» — вообще мрак (и это при том, что никакого личного отрицательного опыта у меня с этими местами не связано; впрочем, связана многолетняя несчастная любовь с Кузьминками, но «несчастливая» только в смысле безответности, а переживалась она как интенсивнейше счастливая уже просто потому, что была).

«Университет», «Парк культуры», «Кропоткинская», «Ленинский проспект» — светло, сладко, тепло, высоко, просто и плосковато (с возрастом — для меня — «рельефности» по мере приближения к наиболее обжитым мною пространствам). Ленинский проспект вообще неоднороден, есть «светлые» и «тёмные» участки. Ясенево — холодно и светло, не очень высоко, плоско и просто. ВДНХ — светло, холодно, высоко, горьковато, сложновато, плоско. Центр — светлый, с тёмными пятнами, тёплый до горячего, сложный, сладкий, с интенсивным рельефом: «складчатый» — то очень высокий, то глубоко-глубоко вогнутый, низкий (но таких участков мало). Темны и тревожны вогнутая Таганка (она даже горьковата), метро «Курская», Земляной Вал... Тепла — даже горяча — и интенсивна, сладка, но темновата в основном выпуклая, кое-где лишь плоская Тверская — светлеет, приближаясь к Кремлю.

Пришли в голову ещё некоторые категории для такого описания пространств: «складчатое» — «гладкое» (собственно, эта категория уже и высказывалась применительно к Центру, а сегодня подумалось, что это вообще устойчивая характеристика разных пространств), «сухое» — «влажное».

И ещё подумала, что «темнота» совершенно не обязательно значит что-то плохое (я и вообще не могу пока понять, что же она, собственно, значит? Но чувствуется очень чётко). Вот, например, окрестности редакции «Знание—Сила» (Кожевническая улица) — и темно, и глубоко-складчато, и низко, и влажно — однако ж уютно и комфортно (тепло и сладко).

Правда, мне совершенно не ясно, для чего такая классификация пространств кому-нибудь, кроме меня самой, смогла бы пригодиться.

Оправдание ноября

Ноябрь успокаивает, умиротворяет: хотя бы уже тем, что не обещает чересчур много, раздирающе-много (как это делает весна, и трудно бывает сразу от всего: и от того, что хочется этому верить, и от того, что верить не получается), не распаивает перед человеком безмерных перспектив (он — месяц меры, а не безмерности, как и брат его октябрь), не дразнит, не тревожит, не вынуждает человека исступать из собственных пределов и мучиться своей виной и недостаточностью, в случае если он не может этого сделать. Я не воспринимаю это как безнадежность (напротив, это, как вечер, прощает меня и примиряет с самой собой).

Лектомания

Болезненная страсть к письму, графомания, известна человечеству много веков и издавна имеет в культуре устоявшееся имя. Но почему страсть — способная быть вполне «болезненной»:

доходящей до зависимости и «ломки» при отсутствии любимого занятия — к чтению не зафиксирована в культурном внимании как полноценное и суверенное явление? Назовём её, допустим, «лектоманией» (хорошо знающие древнегреческий да поправят меня). Эта зависимость, между прочим, способна быть даже куда более сильной и властной, чем зависимость от письма. Истинному лектоману надо читать постоянно, буквально в каждый момент, когда руки и глаза оказываются ничем не заняты.

Спешу опровергнуть некоторые типичные заблуждения.

Во-первых, лектомания совершенно не тождественна информационной зависимости. Ведь информацию можно получать множеством разных способов: из разговоров, по телевизору, по радио, вычитывать в Интернете, выслушивать из аудиокниг в mp3-плеере. Нет, лектоману подавай книгу перед глазами (поэтому сию зависимость можно было бы назвать и «библиоманией» — тем более, что потребность в физическом присутствии книг здесь тоже, между прочим, очень выражена. Не позволяет принять такое название лишь то, что с не меньшей жадностью способны читаться и журналы и даже некоторые газеты). Да ещё, что характерно, достаточно сложную, такую, чтобы не было слишком уж легко читать, чтобы взгляд тормозился и застревал, вынуждая к некоторым внутренним усилиям.

Во-вторых, абсолютно лишено всякой почвы под собой то не менее традиционное утверждение, согласно которому лектоман забивает себе голову чужими текстами, чтобы не думать самому, и / или отучается таким образом самостоятельно воспринимать мир, глядя на него сквозь чужие тексты. Всем известно, что мало что так способствует мышлению, так провоцирует и обостряет его, как чужие тексты (вообще, заметим в скобках, не исключено, что существует Один Большой Текст во множестве своих лиц, который всё время пишется всеми нами, как своими инструментами, а каждый из нас просто с той или иной стороны к нему подключается, с той или иной степенью полноты в нём участвует); одни из самых лучших мыслей, по крайней мере у скромного автора этих строк, были впервые подуманы именно

при чтении чужих текстов. Чужой текст — это интенсивная, насыщенная среда для самостоятельной жизни. Потребность в такого рода среде, в постоянной подпитке с её стороны может быть сопоставлена со своего рода наркоманией и безусловно должна быть отнесена к числу зависимостей.

О добывании жизни

Добывание жизни — вот чем я занимаюсь. Зная, как мало мне досталось жизни и по качеству-количеству опыта, и по количеству лет, которые предстоит прожить — даже если их ещё предстоит лет сорок, во что мне, честно говоря, слабо верится — но ведь и это немного, — я занимаюсь добыванием жизни как интенсивного внутреннего движения. Даже не смыслов — это уже потом, следующая стадия внутреннего сгущения и кристаллизации. А именно жизни как возможности всех возможностей (я ж её не только в «соматическом» смысле понимаю, это, думаю, и объяснять не надо).

Из полуприснившегося

Полуприснилась, полуподумалась (скорее всё-таки приснилась) мысль: «надо жить праведно». Полуприснилась, как это бывает, вместе с сопутствующим ей чувством-интерпретацией: было интуитивно ясно, к чему она относится. И означало это примерно вот что: «надо» жить в глубоком, достигаемом усилиями, в том числе усилиями самопреодоления, согласии с тем, что ты действительно чувствуешь объективно значимыми ценностями — не только своей жизни, но жизни вообще; может быть, даже бытия вообще. Не затем, чтобы получить от Бога очки за хорошее поведение: Он-де увидит, как я стараюсь, и «наградит» меня: думать (и даже чувствовать) подобным образом мне, к счастью, не хватает наивности. «Жить праведно» — затем, чтобы поддерживать «экологию» своей — и не только своей — жизни в целом. Жизни вообще.

Интуиция была, то есть, такая, что «нравственное», ценностно-ориентированное устройство наших поступков, нашего поведения в целом имеет прямое отношение к устройству всего.

Как ни странно, к этому имеет самое непосредственное отношение и то, чтобы «помогать другим», то есть буквально: делать их жизнь «лучше», добрее, насколько возможно ярче и хоть немного легче — потому что таким образом поддерживаешь, разрабатываешь «дело связи». Всякая этика — «дело связи»: выработка и отработка единичным человеком своих связей, не преувеличивая, с «мировым целым». «Помогая людям», мы заботимся о качестве Бытия. Мы ведь не можем знать, куда уходит корнями и разрастающимися ветвями каждое из наших действий, каждая из наших связей. А уходят они, предположительно, весьма далеко. Поэтому, конечно, в какой-то мере мы и сами «спасаемся» правильно поставленной этикой.

Такое восприятие мира я бы назвала «проторелигиозным» или уж скорее — учитывая культурное состояние в целом — «пострелигиозным» — но никак не религиозным в полноценном смысле слова: концепт Бога как таковой здесь, кажется, никак не проявлен — несмотря на множество несомненных формирующих (нас) следов этого концепта.

О тоске по точности

Одно из самых страстно желаемых, даже вожделенных душевных свойств: внутренняя точность и собранность — всех, даже самых разнонаправленных, душевных движений и событий — в один туго и крепко связанный пучок. Неслучайность любого случайного: не насильственная, конечно, а такая, которая давала бы ему свободу — и вместе с тем увязывала бы в целое. Жизнь без внутренних зияний и провисаний. Возможно ли?!

Сквозняк

Детство: чувство вечности всего. Каждая мелочь вечна.

А теперь, чем ближе к концу, тем больше меня колотит от сквозняка между небытием и бытием, тем чаще захватывает меня (и уже почти оторопи не вызывает — стараюсь защищаться) чувство того, что всё хрупко, преходяще, обречено — настолько, что приходится удивляться и благодарить, что это вообще есть, что за это хоть минутку можно подержаться.

Старость: личная версия

Начинаю осваивать Старость как территорию — и старение как процесс. Большая территория, подлежащая индивидуальному картографированию.

Думала о том, что старость — независимо от её календарных сроков — начинается тогда, когда человек начинает смиряться с тем, что он считает / чувствует неизбежным, причём круг «чувствуемого неизбежным» активно растёт. Пока человек бунтует, сопротивляется, возражает — он молод. Совсем коротко: молодость — бунт, старость — перед исчезновением — смирение.

Я это к тому, что прямо на собственных глазах вступаю в стадию смирения, а значит, и старости.

О страхе, вине и ответственности

Самая большая, может быть, смелость — идти навстречу страху быть виноватой. Принимать на себя ответственность за неизбежное причинение другим боли и неудобства, вообще за то, что мы не вписываемся в чужие ожидания и волей-неволей — даже если очень этого не хотим — вынуждены нарушать что-то, сложившееся в чужой жизни (внутренней или внешней — какая разница?)

Принимать ответственность — быть готовой за это платить, в том числе и каким бы то ни было собственным ущербом. Готовой терпеть боль от собственной вины, уметь жить с чувством собственной пониженной ценности, когда оно заслужено. И ещё — выстраивать достойное поведение в свете этого. Не устраивать истерик ни себе, ни людям, ни Создателю.

О природе вины

Вина — онтологическая ущербность. Именно онтологическая, имеющая прямое отношение к нашему бытийному статусу. С каждой виноватостью нас самих становится меньше. Приходится себя наращивать. И всё равно: на месте раз случившегося ущерба остаётся рубец — может быть, даже навсегда.

О неуничтожимом

Постоянное (у меня так точно постоянное) чувство уязвимости, уязвлённости, вины должно бы уже наконец воспитать — хотя бы в качестве защитного механизма — чувство / понимание того, что в нас есть некое ядро, неуничтожимое ни виной, ни уязвимостью и уязвлённостью, ни страданием — и в конечном счёте не задеваемое ими. Именно оно помогает нам сохраниться и выходить из всех ситуаций, включая катастрофические, самими собой. Коротко: должно бы воспитать интуицию чего-то неуничтожимого в человеке. И это, в свою очередь, должно бы придать нам стойкости и спокойствия.

Прощание с ноябрём

Ноябрь — месяц рождения заново, таинственный месяц. Декабрь — это уже проще.

Как хорошо воспитывает осень. Что бы мы делали без её ежегодного оформляющего воздействия — ума не приложу.

Есть что-то очень симпатичное в бесснежной и тёплой, совсем осенней зиме: состояние немного вне времени, когда о времени и его состояниях можно просто не думать. Собственно, этим и хорош ноябрь: он — почти не время года, он — его вечность. Внешнее убирает себя максимально, и мы можем заниматься внутренним. Зима уже снова начнёт соблазнять внешним: снежными красотами, снежной сентиментальностью, морозными трудностями... А ноябрь, чёрный ноябрь, философский месяц, создаёт нам все условия для того, чтобы заниматься внутри себя исключительно структурами бытия.

О механизмах свободы

Слова — это механизм свободы, то есть буквально — «устройство» для её выработки. Даже не в первую очередь в том простом смысле, что, выговаривая что-то, мы хоть отчасти да освобождаемся от него (раз могли сформулировать — значит, хоть чуточку да сильнее формулируемого), но в том, что, наговаривая (лучше письменно) слова, мы тем самым наращиваем наше собственное внутреннее, автономное пространство.

О единицах ответственности

Книга, помимо всего прочего (я бы даже сказала — едва ли не прежде всего прочего) — единица ответственности. Поселяя книгу у себя, мы берём на себя ответственность перед ней — перед тем куском жизни, который в неё вложен, который есть она. Чтобы вросить этот кусок жизни в себя, мы должны пожертвовать какой-то частью собственной жизни. Книги — это то, за что платишь жизнью в самом буквальном смысле. Жизнь же и получаешь.

Меня всё ещё не оставила иллюзия, что получаешь жизнь более высокого качества, более концентрированную, более «усовершенствованную», более значительную едва ли не по

определению. (Именно это всегда, с самого начала рефлексий на эту тему, было у меня объяснением собственного предпочтения чтения — общению: уж если-де человек пишет да ещё и печатает, так наверняка что-то существенное, хоть сколько-то продуманное, а говорят люди — причём часто те же самые — совершенно случайную ерунду.)

Но всё-таки чем ближе к концу, тем чаще меня останавливает перед книгой мысль: а ведь за это придётся платить куском жизни. Готова? (Правда, в ответ на этот вопрос рука чаще всего лезет за деньгами и прилежно их достаёт. Но всё-таки...)

Вот ещё: молодость кончается тогда, когда кончается бессистемное жадное чтение. Я понимаю все его недостатки и ох как хорошо знаю его преимущества: ведь только так, жадно и разбросанно читая (недавно подхватила где-то в ЖЖ: «чтение должно быть огромным и бессистемным» — кто-то цитировал, кажется, свою университетскую преподавательницу. Да! Да!! Эта бессмертная фраза непременно должна быть поставлена рядом со второй, столь же бессмертной: «Всё должно происходить медленно и неправильно». Да: всё должно происходить медленно и неправильно, а чтение должно быть огромным и бессистемным) — ведь только жадно и разбросанно читая, мы имеем шанс натолкнуться на неожиданные связи, на непредвиденные соответствия. И если и не понять, то корешками нервов ухватить глубинную цельность мира.

Я давно уже не только понимаю, но, кажется, даже и чувствую ограниченность собственных человеческих ресурсов. Но всё-таки: пусть бы так — хотя бы так! — понятая молодость не кончалась как можно дольше.

Братство небессмертных

Равенство-ровесничество повзрослевших — равенство смертных, осознавших и прочувствовавших свою смертность. Это братство обречённых, знающих о своей обречённости не только «головой», но уже и нутром.

Наверное, это и стоит считать «окончательным» взрослением: утрату чувства собственной бессмертности. В той мере, в какой это вообще возможно (и взросление — и утрата чувства бессмертности: у меня хоть и не получается верить в бессмертие, но — вот удивительно! — в смерть-то я тоже поверить не могу!). Мы обречены на несовершенство, непостоянство, зыбкость и хрупкость внутренних структур и внешних обстоятельств, на незащищённость — основные характеристики детства, в нём оправданные становлением, позже замаскированные иллюзией завершённости. Эта завершённость никогда не более, чем иллюзия.

Вот уже целых два основания для того, чтобы родившиеся в разные десятилетия чувствовали себя тем не менее ровесниками: общая иллюзия завершённости — или общее понимание, хотя бы чувство, того, что настоящая завершённость не будет достигнута никогда, а может быть (что очень вероятно), что её и не надо.

* * *

Лучшая единица измерения чужих городов — собственные шаги. Лучший ритм их постижения — ритм собственных движений. Одно из самых осмысленных, самых насыщенных на свете занятий — соотносить город с собственным телом, доверяя городу до простодушия, до слепоты, позволяя себе заблудиться. Город усваивается ощупью, через шероховатость его поверхностей, через запахи, мелкие детали, мусор на улицах — незамечаемое, «несущественное» и тем несомненное живое и настоящее. Вернее всего он открывается частному человеку, приехавшему без специальных задач (специальные задачи, как известно — насилие над переживаемым пространством).

* * *

Неудачи уплотняют жизнь. Концентрируют её. Заставляют её цепляться за самое себя — чувствовать собственную ценность, тем более высокую, что уязвимую и обречённую.

* * *

...и вообще, не должно быть легко. Должно быть трудно. Чтобы чувствовалось «сопротивление материала» — и в ответ на него прикладывались усилия (формирующие и объект, и, что гораздо важнее, «субъекта»). Я бы вообще сказала, что во всяком деле важнее всего, может быть, «побочные» продукты — те результаты, которые возникают не вследствие прямого намерения). Чтобы была концентрация на предмете действия, чтобы было активное встречное движение человека к предмету.

Об универсальности

Как-то мне уже случалось и писать, и говорить о том, что-де мне недостаёт в иудаизме, вообще-то чрезвычайно мне интересном, «универсальности» — останавливает этническая «привязка». Хочется, разумеется, прямо сразу «универсального», «общечеловеческого», — однако из этой тяги к универсальности получается в основном никуда-не-принадлежность. Христианство — интересное мне ничуть не менее интенсивно — чувствуется безусловно универсальнее (всё-таки нет этнической, «кровной» привязки, есть по крайней мере интенция выхода за собственные пределы), но... — тут, наверное, не хватает весьма широко понятой доверчивости.

С другой стороны, дело здесь, может быть, вообще не в «универсальном».

Ведь от того, что мы переживаем как «своё», мы никакой универсальности вовсе не требуем. Достаточно чувства соответствия. В конце концов, не универсален также и ни один человеческий язык, а говорим же мы хоть на одном, как на своём, и всё, что надо, выражаем. Отношения с этой областью смыслов и практик (с религией) кажутся мне во многом сопоставимыми и с любовью к человеку: когда мы любим кого-то, мы же не требуем и не ждём от него «универсальности», воплощения всех мыслимых достоинств, да это нам и не нужно! Тут именно важно, что свой, нам соответствующий и нам адресованный.

Человек — вообще существо субъективное (как не помню кто и по какому поводу сказал, «в объективности есть нечто нечеловеческое». Совершенно точно). Через «своё», «адресованное», лично пережитое он понимает гораздо больше, полнее и точнее, чем через объективное и универсальное. Недаром не прижилась в сколько-нибудь значимых масштабах ни одна рационально сконструированная религия типа верований в какое-нибудь обобщённо понятое Высшее Существо или Мировой разум — чего уж, казалось бы, универсальнее... Ан нет. Чего-то настоящего в этом не оказывается. О голом материализме и не говорю.

Ответ на требование непременно «универсальности» от религии как модуса проживания Истины мог бы быть, например, вот каким: она настолько велика (и поэтому «странна и неопределима», поскольку не вполне — или вполне не — человекоизмерима): никто из нас в принципе не может охватить её целиком, поэтому нам и дано быть похожими только в степени её недоохваченности, недопрожитости — в незнаниях и заблуждениях.

Объективность / субъективность я, собственно, тоже друг другу не противопоставляю, тем более, что их всё равно друг от друга не оторвать. Говоря о чувстве «неуниверсальности», останавливающим меня на пороге исторических религий, я имею в виду что-то примерно вот такое: а не выйдет ли так, что вместо Истины я тут буду иметь дело с человеческими условностями — не со Зрением, а с теми или иными степенями слепоты? Правда, дело в том, что Истина и Зрение, скорее всего, не дадутся нам, не смогут быть нам доступны без тех или иных разновидностей слепоты (так на Солнце надо смотреть через затемнённое стекло, чтобы хоть сколько-то разглядеть: может быть, Истина — не для прямого зрения, по меньшей мере в земной жизни). И, может быть, требовать или ждать «гарантий» в этих вопросах — нечто в высшей степени неадекватное. Здесь — в вопросах Высшей Достоверности — более, может быть, чем где-то ещё, человек обречён на риск и каждую минуту рискует потерпеть поражение — и на этот риск надо решаться, потому что, если не решишься, вообще ничего не будет. Да, не все пути ведут к Нему. И, может

быть, людям, рождённым вне той или иной традиции как предлагаемой формы переживания достоверности, особенно трудно найти такие пути.

И ещё с одной из множества сторон: может быть, по-настоящему своё для человека — то, что он переживает как универсальное. То, чего он (почти) не замечает.

Об этническом

Всё больше думается мне о том, что так называемая этничность — во-первых, конструкт; во-вторых, акт (сознательного) выбора. Не «крови» этой самой, о которой вообще непонятно, что она такое, а именно выбора и именно акт, точнее, даже дящееся действие, а не просто результат — то есть нечто такое, что всё время воспроизводится как усилие, всё время подтверждается — не столько даже на уровне самоинтерпретации, сколько на уровне повседневных практик.

И ещё думается о том, что всякая этничность глубоко инструментальна — что она инструмент для достижения каких бы то ни было, но неизменно вне её лежащих целей. Что, конструируя её по заданным рецептам, люди всякий раз преследуют какие-то совсем другие цели, не совпадающие с этничностью как таковой.

О смирении

Из всех видов мысли сейчас мне кажутся интереснее, важнее всего «экзистенциальные рефлексии». Не «как устроен мир» и даже не «как устроены отношения людей друг с другом» (всю жизнь было преимущественно интересно именно такое), но — как человек соприкасается с миром изнутри себя, изнутри собственной обречённой единственности. Всю первую половину жизни хотелось (чувствовалось единственно нужным) анализировать — головой на составные части раскладывать — и это, и всё остальное. Теперь хочется переживать: превращаться в отпечаток понимаемого, в слепок с него. — Смирение? — Может быть.

О качестве дней

Самое главное в днях — наверно, даже не события как таковые, но запахи, оттенки, интонации, обертона — именно эти, ничем рационально выявляемым вроде бы не объяснимые качества проживания дней и определяют в конечном счёте их значение для нас, закрепляют за ними ячейки в нашей внутренней структуре.

Соматика смысла

Тело — полноценный участник мышления и способно помочь прочувствовать (значит — заставить продумать) самые что ни на есть «высокие» смыслы; оно определяет модусы, в которых смыслы проживаются; нельзя исключать, что у всякого, даже самого отвлечённого смысла есть не только отчётливое эмоциональное (это точно есть), но и некоторое телесное соответствие. (Вообще как-то очень доверяю целостному — не только головой, но и сразу-всем-остальным — проживанию мыслей, оно кажется мне более подлинным, что ли; а может быть, кто его знает, и более глубоким.) Тело — своего рода оптический прибор: не застилает взгляд, а, напротив, настраивает его, фокусирует.

Этическое бессознательное

Самое удивительное, когда и любовь (уж она-то — во всяком случае! страшно самовластная вещь, одна из самых, наверно, самовластных в человеке), и даже, пожалуй, вера (ну хотя бы в качестве доверия какому-то человеку) осуществляются в нас сами, как самостоятельная сила, даже помимо наших сознательных намерений, и ведут нас за собой, и мы идём, и всё — включая то, что кажется нам вроде бы невыносимым — получается очень легко (я это обзываю, за неимением лучшего, «этическим бессознательным»). «Трудное» кажется скорее относящимся к природе несовершенных человеческих вещей — и потому неудивительно ничуть.

О метафизичности этики

Всякая этика метафизична — независимо от того, насколько осознаёт свои метафизические коннотации. То есть (а) имеет в качестве своих более-менее неявных предпосылок представления об определённом устройстве мироздания и (б) в числе своих более-менее неявных намерений — стремления (а) как-то в это мироздание вписаться, в соответствии с его так или иначе представляемыми «законами»; (б) как-то на это устройство влиять.

То есть, значение всякой этики в конечном счёте (и) надынструментально.

Поэтому, в частности, легко допустима (и точно существует, просто не всегда артикулируется) этика — как совокупность ценностно окрашенных принципов — в отношении к вещам, пространствам, то есть к любым компонентам мироздания, помимо людей. Не говоря уж о том, что существует этика отношения к самому себе — как к исходному пункту (исходной области) всякого собственного действия.

Вот: этика — это совокупность (практически ориентированных) принципов вписывания себя в мир.

Об опыте

Человеческий опыт целен. Его деление на сегменты вторично и обладает большой долей условности.

... И вообще, подозреваю, человек «голографичен»: в каждой своей точке присутствует весь целиком.

О видах свободы

Наращивая количество обязательств и обязанностей в своей жизни, мы повышаем ценность свободы (в самом «банальном» из её вариантов — необязательности — воздушной прослойки между «надо» и «надо») и остроту её проживания.

Лопай мы эту свободу каждый день большими ложками, мы бы и вкуса не ощущали — или, что вернее, этот вкус очень скоро бы нам приелся.

Свобода (в этом банальном варианте) — как специя: её должно быть мало.

Совсем другое дело — свобода «структурная», «структурообразующая», которая — самовластье и непопадание в плен ни к чему, умение обозначить и создать внутреннюю дистанцию между собой и чем угодно — любого размера. Это уже никак не перец, это хлеб насущный.

О незащищённости

Чувствую я, человек вообще — новичок в мире, сколько бы ни прожил. В опыте, да, есть что-то успокоительное: всякий опыт (глубоко и неизбежно случайный по самой своей природе) создаёт нам видимость опор, видимость надёжности — видимость очевидности.

Об освобождающем

Лишь недавно — на своём сорок втором году — начала я как следует чувствовать огромный освобождающий потенциал так называемой рутины: повторяющегося, автоматического... Устойчивого и защищающего в мире вообще так мало, что по-настоящему перевести дух можно только внутри того, что делается и повторяется якобы «само собой». И думается в этом — причём о самых общих и отвлечённых вещах — великолепно. Рутинка прекрасно освобождает от всего, что не-она, — надевает на нас эдакий защитный футляр. Именно внутри такой защитной конструкции и разворачивается самое разнузданное внутреннее разнообразие.

Удивительно, как с течением времени начинает восприниматься в качестве надёжного источника свободы то, что в начале жизни ничем, кроме окаянного закрепощения, не казалось.

Рутина. Работа. Жёсткое расписание. Сидение дома (в противоположность (а) странствиям, (б) хождениям по гостям и вообще (в) разговорам. Тот же возраст.

А сегодня у меня очень остро и ясно переживалась мысль об освобождающем потенциале — самом, наверно, большом и надёжном из освобождающих потенциалов — неизбежной смерти.

О самосозидании

Мы создаём себя каждым движением, и самыми незаметными — больше всего: потому что их менее всего контролируем. Формы нашего контроля неизбежно слишком грубы.

Безусловно, есть зоны преимущественного «самосозидания», зоны повышенной «пластичности» человека, восприимчивости его к воздействиям, в том числе и собственным. К таким зонам несомненно, отчётливо относятся письмо и речь.

Об изготовлении прошлого

Чем однообразнее внешняя жизнь, тем интенсивнее, ярче, «дерзче» (во мне ли только?) внутренняя, и напротив — под внешним напором внутреннее отступает: защищается. Настоящая переработка интенсивно пережитого внешнего наступает уже потом, когда оно достаточно далеко.

Событиями и впечатлениями запасаясь, как верблюд, откладывая их в свои внутренние горбы, чтобы идти через «пустыню реального» — без достаточно долгого пути по той или иной пустыне запас, кажется, по-настоящему хорошо не усваивается.

Прошлое должно проступать в нас пятнами, время от времени, смешиваясь в разных пропорциях с настоящим, — чтобы действительно состояться как прошлое. Пока же оно не отлежалось — оно только сырьё для изготовления прошлого. Которое запросто может остаться и не(достаточно) востребованным.

Под грубою корою вещества

Не веруя обманчивому миру,
Под грубою корою вещества
Я осызал нетленную порфиру
И узнавал сиянье Божества.

Вл. С.

Кажется, у меня никогда не было потребности жить в красивом городском пространстве — то есть гармоничном и вообще отчётливо «артикулированном» эстетически. (Это относится только к городскому пространству, с домашним, бытовым отношения отдельные и совсем иначе устроенные.)

«Красивое» (что бы под этим ни понималось) городское пространство требовательно до мучительности, с ним не знаешь, что делать, не знаешь, что делать посреди него с самой собой. Оно слишком подчёркивает мою неуместность в нём. Нет, переживать его гармоничность, его организованность и точность бывает полезно, в этом даже можно иметь потребность, оно очень приводит душу (да и тело заодно) в порядок, но жить в этом было бы примерно так же, как если бы каждый день делать генеральную уборку: в этом есть нечто экстатическое — нечто от самопревосхождения. Что же до некрасивого...

Московские — не только московские, конечно, просто эти я знаю лучше всего — окраины и пригороды, индустриальные зоны, «спальные» районы, чуждые всякой эстетики, в самом облике которых есть что-то от разрушения, что-то от неисцелимой неудачи. «Промежуточные» пространства, соединительная ткань существования, дикое его мясо.

Пожалуй, если сводить весь опыт моего общения с ними к некой общей формуле (а такого опыта было много, куда больше, чем жизни в «красивых» пространствах, а главное — качественно он был куда интенсивнее), можно было бы сказать, что оно с ранних, ещё до полноценной рефлексии, лет настраивало меня «антиматериалистически».

Корявые и трудные московские окраины исподволь внушали мне ту мысль — скорее интуицию — что видимое глазом, осязаемое пальцами, обоняемое носом — преходящее и не главное. Что за ним, над ним, кроме него, неважно даже, где — непременно должно быть «что-то ещё». Что всё это только потому и есть, что есть «что-то ещё»: само по себе оно бы точно не могло быть.

Некрасивые пространства вызывают такое чувство гораздо вернее и настойчивее красивых — именно потому, что воспринимаются как грубая, вторичная корка. (По логике вещей, красивое самой своей красотой должно было бы свидетельствовать о существовании иных пластов бытия — иначе бы откуда такая красота?! — но к его посланию я оказалась существенно менее восприимчива. Какие-нибудь Люберцы или Кузьминки, тёмные даже в самое светлое время суток и года, говорят мне в этом смысле, как ни странно, куда больше.)

Красивое с ходу берёт душу в оборот и начинает что-то с ней делать, причём часто даже непонятно, что именно. Красивое — слишком сильное высказывание. Иногда хочется и глаза зажмурить, и уши заткнуть. Красивое агрессивно, потому что властно. И говорит с нами — куда более аморфными, чем оно — свысока.

Некрасивое к нам равнодушно — и оставляет нас свободными. В нём «Аполлон» не требует нас «к священной жертве».

Конечно, этим оно, с одной стороны, может нас разваливать. С другой — этим же самым оно способно провоцировать в нас собственные организующие силы, чтобы противостоять его тяжёлой аморфности! — и это второе мне понятнее и ближе. Мне как-то проще ответить окружающему пространству «нет», чем «да».

Мои отношения с некрасивыми пространствами — и, больше того, моя потребность в них! — с детских, чертановских лет вполне определяются формулой: «...Под грубою корою вещества // Я осязал нетленную порфиру // И узнавал сиянье Божества». Чтобы узнавать «сиянье Божества», некий «огонь, мерцающий в сосуде», мне непременно нужна была — и сейчас нужна — «грубая кора вещества». Она всегда, едва ли не автоматически, оказывалась для меня знаком, свидетельством чего-то значитель-

ного, всем своим косным, неказистым естеством убеждая: к ней дело не сводится.

Я в себе это отношу к признакам «латентной религиозности».

Надо ли говорить — правда, я, кажется, только сию минуту это поняла! — что эта апология некрасивого означала и означает для меня, и не такое уж неявное, оправдание собственной некрасоты. Культурный прессинг требует, чтобы существо женского пола непременно имело эстетически значимую внешность, а если оно её не имеет от Бога, так должно трудиться, чтобы её себе сделать, иначе обречено на низкий социальный статус. В принципе можно было бы, наверно, сосредоточив на этом направлении много-много сил, добиться каких-то результатов, но... — видимо, не очень хотелось. В конце концов, я уверена, что ленимся мы делать то, что для нас не является достаточно значимым. «Лень», «неинтересно» — значит, не так уж хочется. Когда действительно хочется — бьёмся, даже если трудно, даже если кажется почти невозможным. Мои отношения с действительно значимыми для меня вещами и людьми заставили меня в это поверить. Как бы там ни было, неудачная внешность всё равно переживалась как беда и «встроенное», «инкорпорированное» поражение. Взятая же в таком ракурсе, она бедой быть переставала — и становилась если не свидетельством значительности, то, по крайней мере, её обещанием, намёком на её возможность. О нет, не моей значительности, но той, общей всем и всему значительности, которая скрывается под любой «грубою корою вещества». Даже под моей собственной.

Отсюда — доверие к глубокому, неявному и сложному, гораздо большее, чем к явному, простому и открытому. К тому, что ускользает — гораздо большее, чем к тому, что само даётся (и уж подавно — чем к тому, что себя навязывает!).

Сегодня мне случилось в очередной раз быть в пространствах между улицами Марии Ульяновой и Кравченко, заполненных случайными, подслеповатыми, бедственно некрасивыми пятиэтажками. Тёмное, скудное, зябкое, казалось бы, существование, заведомо недолговечное, будто из отсыревшего картона. Но

как мне всё это мило и внятно, каким чувствуется уютным и принадлежащим к самой сути бытия! Эти дома, кажущиеся мне растущими прямо из земли, как её естественное и необходимое продолжение, эти задворки говорят со мной на языке моего собственного тела: мои братья по косности и некрасоте. Они самым явным для меня образом свидетельствуют о том, что жизнь неустранимо значительна. Они делают это без обязывающих и дисциплинирующих отсылок к «общечеловеческому» — в отличие от, допустим, Петербурга, который сразу ставит человека в контекст вечности, не интересуясь, готов он, не готов ли.

В этих бедных временках, таких некрасивых, что, кажется, ещё шаг-другой назад — и мы уже в области хаоса, — тоже есть вечность. Только иначе прочувствованная, в других формах. Их тёмное, комковатое, медленное время едва отслаивается от небытия — и скоро в него вернётся, их вот-вот будут сносить, и мне их очень жаль: с ними уйдёт неповторимейшая интонация жизни, в которой есть своя глубина и своя уверенность. Жаль их человекосоразмерности — соразмерности маленькому, кратковременному, грустному человеку, любящему своё человеческое тепло и свою отдельность.

(Они старше меня — и поэтому для меня вечны. А дома 1970-х, которые строились на моих глазах и уже не первый год разрушаются от ранней ветхости — я до сих пор чувствую легкомысленными, весёлыми новостройками.)

В их некрасивости есть тайна. Она вообще есть во всём некрасивом. Красота же с её внятностью, красноречивостью, откровенностью кажется такой прозрачной, что тайны в ней слишком легко не заметить.

Поэтому красота требует особой душевной дисциплины.

На самом деле я неточна, говоря, что мне «никогда не хотелось» жить в красивых пространствах. Подумалось действительно так; так и написалось (человек в каждой своей точке присутствует целиком, да, — однако ж не всего себя каждую минуту помнит), но на самом-то деле мне хотелось жить в одном таком пространстве — в Петербурге. И сейчас даже хочется:

увидеть какую-нибудь случайную фотографию (вчера попался в ЖЖ какой-то угол с аптекой) — сердце сожмёт: вот где надо бы было быть. Вот чем надо бы было быть.

(Ведь что такое любовь, среди неисчислимого прочего? Желание повторять собой, в себе черты любимого. «В темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало, повторяя». Вот и с Бродским — написала сейчас и очередной раз поняла — у меня очень похожие отношения: мне хочется повторять форму и ритм его слов своими внутренними движениями.)

Но хотеть жить там — всё равно, что хотеть быть кем-то другим (мне это желание тоже очень свойственно). Конечно, в пространстве с такой степенью даже не эстетической, а онтологической интенсивности я бы была совсем другой. В общем-то мне не слишком нравится то, что из меня в результате всего получилось. Но теперь уж ничего не поделаешь.

И ещё: у Петербурга всё-таки особенная красота. Горькая, тревожная, настороженная, с грустью внутри (грустному, говорю же, — верю «с полоборота»; сияющий жизнерадостный город заставил бы меня защищаться от него). Я давным-давно ещё подумала, что этот город со своим напряжением стоит на границе между бытием и небытием, сдерживая их напор друг на друга, уравновешивая их; он сам — эта граница.

В нём — ещё со времён жуткой книжки о «Блокаде Ленинграда», которую я ненароком нашла у отчима на столе на своём седьмом году, в 1972-м (голубая, в мягкой обложке, «издательство имени Чехова», Нью-Йорк, 1954 год, автора запомнила как «К. Карстен». Там было что-то о людоедстве, о трупах в подворотнях: взяла в руки, обожглась, много дней боялась даже подходить к этому столу, даже думать о нём) — всегда сохранялся для меня привкус беды, привкус чего-то непоправимого. Именно поэтому всё, что от этого города исходило, воспринималось и воспринимается как особенно правдивое и глубокое. Именно поэтому ему нельзя не верить.

Что за дикое слово

«Я» — только повод быть. Не самый лучший (это ко всякому «я» относится, к «я» как таковому), но ничего более удачного, похоже, пока не придумано.

«Я» — это то, сквозь что, вопреки чему (хотя, конечно, также и «благодаря») приходится осуществляться.

Иногда кажется, что эмпирическое «я» с его данностями и случайностями — только скорлупа, та самая «грубая кора вещества», через которую с трудом, с усилием пробивается, прорезывается — чтобы потом эту скорлупу отбросить — что-то ещё.

Подготовительная форма. Как форма для отливки в металлургии — просто «биологическая» метафора мне больше нравится.

О благодарности

Кажется мне, что грусть (как модус восприятия жизни) — это форма благодарности за жизнь. Форма острого переживания её драгоценности. Такая, в которой мы заранее оплакиваем недолговечность жизни, её хрупкую обречённость.

О банальном

«Банальность» — восприятие чего бы то ни было как банального — не следствие ли всего лишь (спасительной, защитной) притуплённости восприятия? Иначе бы нас разорвало от остроты и первичности чувств, которой, если хоть чуть-чуть вдуматься, достойно всё сущее.

О фантомной религиозности

О латентной — непроявленной, не(до)осуществлённой религиозности мне уже приходилось и думать и писать; а есть ещё и религиозность фантомная (эвона сколько в человеке химе-

рических образований при отсутствии «простой» веры, которая, подобно любви и в совершенном родстве с нею, сама даётся и не имеет причин, кроме самой себя): это когда явно религиозные по своему устройству чувства возникают на таком месте, где никаких религиозных мотивов нет.

Меня, например, всегда тянуло к тем или иным видам аскезы (при всей моей разбросанности, а скорее всего, как раз вследствие её): ограничить себя в том-то и в том-то, вписать себя в некоторый жёсткий ритм (в юности я вообще это очень идеализировала; это почему-то казалось мне «улучшающим» человека априори — почему-то именно это, а совсем не избыток). Но у этой тяги к самоограничению вроде бы никогда не было метафизического, тем более, религиозного подтекста: мне просто казалось, будто это интенсифицирует жизнь в человеке (а не, скажем, оказывается стимулом «вертикального» движения, подъёма): жизнь, загнанная в узкие, строгие рамки, переживается будто бы острее и точнее.

(Хотя нет, всё-таки известный метафизический привкус был: мнилось, что-де ограничение себя в чём-то внешнем и материальном едва ли не само по себе ориентирует на «высшее» и «внутреннее» [не то чтобы синонимы, но существенно связанные вещи]. Всё-таки под интенсивно, точно и остро пережитой жизнью у меня всегда — пусть даже без отчёта себе в этом! — так или иначе подразумевалась жизнь с вертикальными «выходами». Опять же без сколько-нибудь чётких — удовлетворяющим меня образом чётких — представлений о том, куда — к Кому — должно бы вести это вертикальное движение.)

Я подозреваю в этом один из симптомов фантомной религиозности — у себя как у человека, сформированного атеистической / пострелигиозной культурой: самой религии и веры нет — отсечена ещё до моего рождения, а некие внутренние движения, повторяющие отдельные её формы, сохраняются.

De profundis clamavi ad Te, Domine.

Об опыте

В каждом опыте — в каждом — мы постигаем частичку удела человеческого. Даже так: Удела Человеческого. Всё новые стороны пластичного и единого — при всех разорванностях — человеческого существа.

Прямая речь

Кошки — прямая речь бытия. Вот человек — это иносказание. А кошки — речь самая прямая, высказывание в упор. Такое полное, что кажется молчанием. По крайней мере, умалчиванием — мы к такой полноте не привыкли, вот и не «считываем» в ней всего. А там всё сказано так просто.

О грусти, или Записки меланхолика

Бывает грустно нипочему. Ну, просто потому, что у грусти, как и у радости — и любых прочих состояний — есть собственные, внутренние источники. Во внешних подтверждениях и стимулах они (внутренние состояния) не так уж и нуждаются: всегда себе их подберут, хоть за уши притянут, а не удастся — и без них обойдутся.

В конце концов, есть такая вещь, как привычка к грусти — входящая до потребности в ней. Грусть как естественная душевная форма, как линия, по которой этой самой душе естественнее всего двигаться. Ей в этом ракурсе мир понятнее.

Сегодня всё было скорее хорошо, от чего ещё грустнее (в конце концов, когда «плохо» — сжимаешь зубы, напрягаешь мускулы и готовишься сопротивляться. А вот когда хорошо — немедленно начинаешь грустить: пройдёт ведь). Был совершенно весенний, мартовский день с высоким небом, а весной грустно всегда.

(Дело не в том, что я чего-то не успеваю — хотя, конечно, да, не успеваю — и даже не в том, что, яснее ясного, и не успею —

в конце концов, авралы, неуспевание и собственная несобранность — это скорее нормально, потому что — в устоявшемся порядке вещей.)

И вообще я думаю, что грусть — это форма благодарности жизни. Соединённая с чётким пониманием того, что она проходит.

Об уме

Мне издавна кажется, будто ум — разновидность честности. Разновидность полноты отчёта самому себе — прежде всего, а затем и другим — в происходящем в мире. Ценность интеллекта, то есть, кажется мне прежде всего этической.

Поэтому, когда я кажусь себе недостаточно умной, мне прежде всего бывает стыдно. И не в том смысле, что я произвожу не то «впечатление» на других (чем дальше, тем, слава богу, менее меня волнует, какое «впечатление» я произвожу — в конце концов, оно — факт душевной жизни «впечатляемых»), но в том, что это мнится мне разновидностью самообмана и слепоты — не так уж важно, намеренной или невольной. В обоих случаях плохо. В конце концов, даже невольная слепота — это всегда недостаток усилия, а значит, в каком-то смысле намеренна.

О значительном

«Значительное» — то, что своим существованием, своим физическим обликом указывает нам, его переживающим, на высшие ценности бытия, на крупные структуры его устройства, свидетельствует о его глубине — не вполне, если вообще, пересказуемой словами. Таким действительно может стать что угодно. Бывают значительные закаты (очень часто), значительные голоса (даже независимо от того, что ими говорится), даже значительные запахи.

О времени перехода

Вот ещё зачем люди с таким упорством, с такой навязчивостью устраивают себе «веселье» по поводу смены календаря, заставляют себя веселиться, развлекаться, получать удовольствие, украшают своё пространство: это от архаического страха перед Новым Годом — временем перехода. Людям нужно уговорить себя, что это не (так уж) страшно, чтобы перешагнуть этот порог без паники. Пространство перехода сакрально — и именно поэтому вдвойне страшно — даже после утраты всех сакральных смыслов. Это — будто бы — время с повышенной пластичностью, воспринимающее все следы, усваивающее все влияния. Страшно сделать «неверный» шаг в новогоднюю ночь, в первые дни чужого необжитого года: он, не приведи господь, может весь год собой определить, подчинить нас себе, не спрашивая никакой нашей свободной воли (пресловутое «Как год встретишь, так его и проведёшь» — устойчивейший стереотип массового сознания, слышала из уст самых, казалось бы, рациональных людей — и по сей день слышу.)

А всё потому, что к рациональности это имеет очень мало отношения — если какое-то вообще.

Как всё архаичное, этот страх лишь в очень малой степени (если вообще) сознателен. Я и себя на этом ловлю. У меня тут свои суеверия, что и не думает отменять их суеверную природу. Вот, думается, если не работаешь в первые дни года интенсивно и плотно, если не начинаешь его с хоть сколько-то осязаемых результатов, так весь год и проболтаешься в аморфности, так весь год и будешь неудачником. Реально страшно. И всяким действием себя уговариваешь: нет, я могу, могу жить осмысленно и плотно; я могу прикладывать усилия; я вообще могу жить в новом году по крайней мере точно так же, как и в старом. Оказывается, всё это надо бывает себе «доказывать». Причём именно в первые — «переходные», сквозящие, нестойкие дни.

(Впрочем, и само это — вполне навязчивое для меня — стремление к «плотности» деятельностного и смыслового,

прости господи, ряда, стремление к непрерывной осмысленности и вписанности в некое, полное подтекстов, Целое всякого, даже мелкого, даже бессмысленного шага — не что иное, чувствую я, как заговаривание, затаптывание в себе страха перед Бездной. Что, впрочем, отдельная история.)

Иные города*

Я — город-призрак, в котором соединяются — возникая и исчезая — города всех времён и народов, включая никогда не существовавшие и ещё имеющие, может быть, возможность возникнуть. Он появляется между небом и землёй перед рассветом и сразу после заката: это город-переход, через который можно попасть куда угодно: в любое пространство, в любое время. Правда, не факт, что попадёшь именно туда, куда шёл, и уж точно не факт, что вернёшься обратно. Вернее всего, так там и останешься — потому что границ у этого города нет. Конечно же, там можно встретить любого, кого захочешь, включая, разумеется, и вымышленных персонажей. Можно и самого себя в других возрастах и в любом из несбывшихся вариантов. Но эдакие встречи случаются там не только намеренно, но и неожиданно — по собственному, непредсказуемому произволу Города.

Там всё не так, как в осязаемых городах, даже физика другая. Время у него собственное — не пересекающееся с временем Большого Мира, в разных точках которого он иногда появляется (разумеется, в том числе и в нескольких одновременно). В собственном времени он тоже может двигаться вспять. (И отдельные его части тоже).

Разумеется, Город совершенно реален в том смысле, что, как всякая реальность, лишь в очень ограниченной степени поддаётся нашему произволу — и уж конечно, «дан» нам в многообразии ощущений. Он разве что потому только «призрак», что внезапно возникает и исчезает. Но жизнь там настоящая. В нём существуют вполне осязаемые для обитателей дома, которые строятся, их можно обживать. Ещё их можно выращивать — из специальных

семян. Обитатели Города вообще делятся на тех, кто предпочитает строить себе дом, и на тех, кто предпочитает их выращивать. Но и те, и другие дома — живые: с ними можно (даже нужно!) разговаривать (в том числе мысленно — они понимают); они могут своевольничать, спорить с владельцем, их приходится убеждать, и не всегда это удаётся. Некоторые дома могут так конфликтовать с обитателями, что настойчиво предлагают им уйти (но это бывает редко).

* Примечание 2013 года: Написано в рамках живожурнального флэшмоба (недооцененная в своей плодотворности культурная форма), в котором предлагалось отождествить себя с каким-нибудь городом.

О сумчатости

Кроме всего прочего, люди делятся на Людей-с-Большими-Сумками и Людей-с-Маленькими-Сумками. Это точно два разных душевных типа, может быть, и антропологических. Принадлежность к типу, по всей вероятности, врождённая, и с годами, при возникновении и развитии контактов с сумками, только выявляется и уточняется. Вообще сумка — это метафора человека, его проекция. (Есть ещё, наверно, такой редкостный тип, как Люди-Без-Сумок.)

Я отношусь к первому типу.

Поэтика личности

Начитавшись собственных записей двадцатилетней давности, очередной раз подтверждаю в себе ту давно уже не оригинальную мысль, что жизнь личности строится как совокупность нескольких (по всей вероятности, довольно немногих) мотивов, тематических линий, смысловых стимулов — которые на двадцать втором году у меня практически все уже были, притом не первый год. Все они есть у меня и сейчас. Складываются они,

вероятно, в своём сколько-нибудь окончательном виде где-то в районе отрочества, и то, что происходит дальше — в основном только их нюансировка, внутреннее усложнение / ветвление или, может быть, напротив, банализация и огрубление.

Добавление нового мотива или исчезновение хоть одного из них — вот содержание переломов в личной истории.

Синяя крона, малиновый ствол

И всё-таки как жаль несостоявшегося новогоднего чуда. На остатки новогодней символики на улицах больно смотреть, как в детстве.

Как всегда в таких ситуациях — что и придаёт им прелесть — у меня и на сей раз, естественно, не было ни единого чёткого представления о том, какого именно «чуда», какой радости, какого преобразования мне хотелось, чего именно я не получила. Здесь чёткость не нужна, здесь ждёшь именно неожиданного. Хотелось (даже теперь!) и чувствовалось нужным для некоторой душевной и даже, если угодно, биографической динамики — всё равно с каким содержанием — сильно, глубоко и развёрнуто пережитого чуда, преобразования, пересоздания меня от (большой) части некоторой внешней, превосходящей меня силой — на некоторых новых, чистых, более возвышенных основаниях.

По существу ведь совершенно религиозного типа потребность. Её, её, родимую, проецируют на «Новый год» люди нашей пострелигиозной культуры. Причём, руку на сердце положу, у меня нет совсем никаких оснований думать, будто в церкви — и применительно к церковным / религиозным праздникам — такие ожидания адекватнее. За ними всего лишь стоит традиция значительно большего объёма; эта дорога подъёма к Божеству более «накатанная». А так — почему бы и не «Новый год»? — Оно через любые отверстия, по идее, может проникнуть, надо только, чтобы люди их открыли. То есть, на «растоптанных» путях не Божеству легче к людям сойти (Оно и так может), а людям легче его воспринять, настроить себе «оптику». По-

нятно, что здесь есть свои опасности: возможность, скажем, принять за черты Божества черты самой дороги — но это уж отдельная тема.

Климат и Психея

...Вот ещё зачем нужна долгая суровая зима: чтобы тем острее, тем благодарнее мы обрадовались весне, чтобы тем полнее мы её пережили. Чтобы весна действительно стала мощным событием, переменной в состоянии мира и жизни.

Если начнутся тёплые, невнятные (очень вообще-то удобные) зимы, подобные этой, я совершенно всерьёз нахожу возможным, что это приведёт к изменению всей нашей душевной динамики — всей национальной психологии, а в связи с этим, пожалуй что, и культуры. Потому что — опять же совершенно всерьёз — смысловые процессы начинаются с общего чувства мира, и «простая» смена времён года, световых и температурных режимов жизни задаёт его, как мало что.

Так и навязывается мысль, что вряд ли это будут изменения к лучшему: резкие перепады состояний культивируют, якобы, глубину и известный драматизм мировосприятия. Смягчённость, смазанность зим, в свою очередь, не ведёт ли к его поверхностности и облегчённости? Летняя же жара, которая в случае пресловутого потепления станет куда больше прежней, скорее отупляет — особенно людей, которые к ней не очень-то привыкли — и способствует равнодушию.

Под грубою корою вещества: центр и периферия

Показалось очередной раз, будто от невнятно воплощённых, «периферийных» форм бытия — «вторичных», «посредственных», «некачественных» — легче восходить вверх, к Божеству: заведомо второсортная, плохо оформленная материя

не так держит, всегда готова потесниться и распасться. Производя впечатление тупиковой, она вовсе не претендует на самоценность, напротив того: только и делает, что отрицает её. «Тупиковость» её — это тупиковость «материального» пути, просто высказанная наиболее откровенно, доведённая до своего предела.

И поэтому-де у «неудачников» больше шансов подняться к Богу — вот почему «последние станут первыми»: «удачники» слишком зачарованы своей удачей, слишком цепляются за земное бытие, которое у них, естественно, куда более чётко «артикулировано» — и вязнут в нём. «Неудачников» земное бытие выталкивает.

(Предположительно — вверх, однако это совсем ещё не факт. Даже вовсе не факт, потому что для восхождения, как известно, необходимо усилие, да и существенное. Просто шансов тут — для начала такого усилия — теоретически больше, хотя этими шансами ведь запросто можно и не воспользоваться.)

Об устройстве мышления

Человек думает не только словами и образами, но и — очень вероятно, что прежде всего — своего рода внутренними движениями, почти физическими. «Просто» — вдруг — сдвигами своего внутреннего существа — не обязательно всего, достаточно и части его — в некоторую сторону, смещениями внутренней тяжести, нарушениями внутренних равновесий. И когда такой сдвиг произошёл — лишь после этого делаются возможными и слова, и образы.

Не зря

И всё-таки я думаю, что день прошёл «не зря», если в нём подумана (пусть только намечена к продумыванию, пусть только ухвачена) хотя бы одна мысль, если в нём прожито хотя

бы одно чувство, оставившее в нас отпечаток — пусть даже совершенно бессловесный, не всё же словесно, в конце концов. Более того, он прошёл «не зря», даже если он всего лишь оставил в нас заготовки для будущих возможных чувств и мыслей. Даже если прошёл настолько пусто и никак, что единственное его, казалось бы, назначение — в том, чтобы мы от него как можно интенсивнее потом отталкивались (а стимул на самом деле ох какой сильный!).

Но из этого достаточно очевидным образом следует, что «впустую» не проходит ничего вообще.

Если, конечно, к этому соответствующим образом относиться.

(В каком-то смысле — но лишь в каком-то смысле — это вопрос «оптики», видения. Ведь видеть — сколько глаз ни настраивай — тоже можно только то, что есть. Даже в случае «глюков» и иллюзий: в их случаях мы видим то, что есть в нас.)

Значит, вы уже умерли

Состояние вины и тревоги — постоянное, фоновое — стало для меня настолько привычным, что уже само по себе подтверждает во мне чувство жизни и моей принадлежности ей. Оно давно уже — не сигнал о катастрофе, а норма и естественная форма жизни. Более того, оно даже необходимо для настоящего эффективной деятельности (даже просто для того, чтобы сконцентрироваться — для внутренней мобилизации на уровне сразу-всего: и чувств, и мыслей. То есть, даже приходится его себе создавать: запустить дела как следует, чтобы потом кааааак наброситься!!.. Всегда нужно чувствовать, что хоть немножко да «пропадаю». В спокойном состоянии не работается. В спокойном состоянии можно только транжирить время — зарабатывая себе необходимую дозу беспокойства).

В те редкие и странные минуты, когда оно почему-либо исчезает (вдруг, скажем, ВСЁ написала, не боюсь ничего забыть, ничего никому не должна сдавать и, главное, не опаздываю с этим), становится так странно, что не просто некомфортно,

а прямо-таки начинаю беспокоиться: да точно ли всё в порядке? да не забыла ли я, не приведи господь, о чём-нибудь? а вдруг забыла, а время уходит?! Словом, если вы проснулись, а у вас ничего не болит (= а вы ни перед кем не виноваты), значит, вы уже умерли.

Но, слава богу, такие минуты исчезающе-редки. Значит, мы ещё живы!

Чтобы расти ему в ответ

Победы — бельма на наших глазах. Поражения заставляют прозреть (не помогают даже, а прямо-таки заставляют). Чем больше, тем точнее (боль — залог точности, даже форма её). Поражение — любое — всегда абсолютнее победы — любой.

И ещё поражения учат честности, потому что в любой победе, в любом торжестве всегда есть что-то от (само)обмана.

Путь потерь правдивее пути приобретений. (На нём «отшелушивается» всё защитное — лишнее — ложное, и мы наконец остаёмся самими собой — пока, совсем наконец, не остаёмся без себя, ибо «самость» наша драгоценная — тоже одна из форм самообмана в каком-то последнем смысле.)

Будь благословенно то, что к нам беспощадно. Даже если оно к нам «несправедливо».

Надо быть на уровне своих поражений, вровень им. Если у человека и есть какая-то ценность (точнее, если есть такая область бытия, в которой разговор о ценности человека имеет смысл — а уж она-то точно есть), то измеряется она не количеством и качеством его побед и достижений, но тем, что с ним делают его поражения — и что он делает с ними.

Победа работает на ограниченность (так и провоцирует закрепить достигнутые границы и оберегать их: ведь в результате победы достались! победу воплощают собой!..). Поражение прорывает наши границы, заставляет пережить их условность. Заставляет расти.

О видах ограниченности

Ограниченность бывает по меньшей мере двух видов: «горизонтальная» и «вертикальная». Первая — невосприимчивость (невысокая восприимчивость) к человеческой инаковости и разнообразию. Вторая — к метафизическим аспектам существования. Как ни странно, это — два совершенно суверенных вида восприимчивости, может быть, даже никак между собою не связанных: можно иметь очень развитую одну из них — и совершенно неразвитую другую. Я даже не уверена (хотя, конечно, не могу этого исключать), что одна из них способна помочь развитию другой: две разные способности. Очень восприимчивый метафизически человек может быть совершенно бездарен в межличностном отношении, и наоборот.

Очень похоже на то, что потребность в абсолютном — одна из основополагающих потребностей человека. Я бы даже сказала, «человекообразующих».

О встроенных ограничителях

Есть такие, настолько дорогие воспоминания, что уже хотя бы только в их память, в благодарность им очень-очень хочется быть лучше: добрее, мудрее, благодарнее, чутче, смиреннее, радостнее, чище, точнее... — чем получается. Есть такие воспоминания, которые самим своим присутствием не дают нам опускаться и озверевать. Я бы их назвала «встроенными ограничителями».

О формах роста

У каждого возраста свои формы роста — чувствительность к разным формам роста.

В детстве это, как и без меня известно, по преимуществу игра, потому — учёба, потом — путешествия (очень эффективная

форма роста, и, может быть, этап чувствительности к ней я уже миновала), потом (может быть, одновременно с путешествиями — не настаиваю!) — любовь — напряжённо проживаемые во всех своих аспектах отношения между полами, стремление добиться внимания людей другого пола (это я, кажется, тоже уже миновала).

А затем (и вот в этот возраст я уже вошла) — главной, до исключительности, до всеисчерываемости формой роста чувствуется мне жизнь для других. Время раздавать набранные «камни». Время жизни «на выход» — для остающихся. Повторяю, рост в этой стадии жизни не прекращается, по крайней мере, теоретически. Только от всего остального человек моих лет — ни от игр, ни от учения и интеллектуальных трудов, ни от отношений с другим полом, ни даже от странствий, по которым мне так тосковалось ещё совсем недавно — не вырастет, сколько бы ни старался. По крайней мере, вырастет «не так». Чувствительность прошла.

О глубине и лёгкости

Лёгкое отношение к жизни (большая, кстати, ценность для меня) совершенно не предполагает небрежности. Оно и поверхностности, более того, не предполагает. (Глубина восприятия вещей — форма уважения к ним.) А предполагает оно скорее бережность и осторожность к тому, чего — легко — касаешься. Не хватая, а трогая. Не навязывая ему форму своей руки, а позволяя ему быть самим собой.

Тяжеловесность не даёт слышать вещи жизни. А я хочу их слышать. Всё больше и больше хочу именно этого — а не своё говорить. Может быть, это — тоже уже «жизнь на выход»? Не удивлюсь, если так.

Понятно, что ценности (обычно) не выдумываются, а находятся уже готовыми (изобрести новую, доселе небывшую ценность — великий культурный прорыв; и сколько можно вспомнить таких прорывов? Тема для отдельной рефлексии (а было бы

интересно!), но я сейчас не об этом). Так вот, я подумала о том, что из этого «предзаготовленного» (той культурой, в которую мы рождаемся) ценностного набора мы выбираем не (только) те, что нам соответствуют, но — как противовесы себе.

Та же лёгкость отношения к жизни как остро переживаемая ценность потому (мною) и выбирается, что её (вот мне, например) ощутимо не хватает. Если бы она у меня была — есть же люди с таким даром! — я бы скорее всего обращала бы внимание на что-то другое.

Назначение ценностей не в том ли тоже состоит, чтобы — как минимум — корректировать нас, а в пределе — вообще, потихоньку, исподволь, посредством повседневного их проживания — делать нас не (совсем) тем, чем мы являемся изначально? Прояснять, преобразовывать нашу тёмную, хаотичную природу?

Тотальное бесстрашие (которого так иной раз хочется) не есть ли разновидность (экзистенциальной) тупости? Страх существует, помимо прочего, и затем, чтобы обозначать дистанцию между нами и Некоторым Предметом, (непреодолимую) разницу в масштабах. Таков страх Божий. Так глупо и мелко не испытывать страха перед звёздной космической бездной, неизмеримо превосходящей всё наше. Страх — просто один из языков, на котором проговаривается масштаб существующего, наше понимание его.

Разумеется, есть смысл принципиально отделять такое от бытовых форм страха типа «боюсь зубного врача».

Страх — форма переживания ценности жизни и включается, чтобы оберегать наши (главное, что не только наши) границы, чтобы удерживать нас от разрушительных действий. Он не только следствие нашего малодушия и препятствие к радостному и гармоничному слиянию с мировым целым. Существует же страх стыда, страх позора, страх погубить что-нибудь хрупкое и ценное. Его не в каждом случае надо преодолевать. Его надо выслушивать (не факт, что слушаться, но выслушивать обязательно) и выстраивать с ним правильные отношения. Не свысока — на

равных, непременно на равных. Поскольку он — голос (и) более существенных вещей, чем наша трусость.

Стоило бы организовать собственное существование как диалогичное по преимуществу, существовать в «модусе» диалогичности. Хотя бы уже потому, что это «обеспечивает» / стимулирует куда бОльшую смысловую динамику. Но тут всё не может быть сведено к смысловому «прагматизму» — набрать-де смыслов как можно больше, — в этом видится мне и этическая именно значимость. В этом — более адекватная форма взаимоотношений с Бытием.

И ещё подумалось: а вот горе — монологично.

...Может быть, радость всё-таки — более адекватная форма взаимоотношений с Бытием? Она размыкает наши границы. Чтобы их разомкнуло горе — нужна некоторая специальная работа. Всё-таки боль имеет свойство оказывать на нас «анестезирующее» действие: убивает чувствительность ко всему, что не она, так и норовит всё представить нам в «модусе» боли.

Боль обостряет нам «оптику» лишь тогда, когда она уже прошла. Она — едкая жидкость для протирки наших внутренних линз, — но, пока она по этим линзам течёт, мы ничего не видим.

Пешком

Не зря же я так люблю бесцельные прогулки (исчезающе редко удаётся теперь этим заниматься, но тем не менее), — упорно чудится мне в них жест обращения, — некоторая разговорная интонация. Прохождение по улице пешком — высказывание. Я думала всегда, что это — диалог с городом, пространством, временем, ну и с самой собой, конечно. Но ведь это всё тоже форма диалога с вечностью.

Собственно, человеческое существование само, всё вообще, как таковое — «форма диалога с вечностью». И в мелочах тоже (может быть, кстати, в них — особенно). Просто в нём есть

(и должны быть — для «правильной» настройки внимания) особо выделенные области для такого диалога. Области организованной восприимчивости.

Ужели слово найдено?

Нашла формулировку: после сорока начинается другое «семантическое пространство». Область других, чем прежде, значений. (Человек проживает несколько семантических эпох; и возраст может быть определён как едва ли не прежде всего семантическая эпоха.) Не в физиологическом ещё, даже, кажется, ещё не в психологическом — но в семантическом смысле отличное от всего, что было прежде, и предлежащее освоению.

Ономатология

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.

J. W. v. G.

Я обычно подписываюсь двумя фамилиями: Балла и Гертман (в принципе есть ещё псевдоним «Ирина Шварц», но это именно псевдоним, извлекаемый, когда ну надо же как-то ещё назваться, то есть просто значок, а не обжитая личина). Сегодня мне наконец-то пришло в голову, что ведь это разные персонажи — совершенно так же, как это было у Андрея Синявского и Абрама Терца. Кто-то из них (или оба вместе) описывал, что они даже выглядят по-разному, не говоря уж о различиях в душевном устройстве. К моим персонажам применимо то же самое. Кстати, для их обозначения мне нравится слово «гетероним», которым обозначались куда более множественные альтер эго у Фернандо Пессоа. Правда, у его гетеронимов были ещё и разные биографии. У моих — одна, но проживают они её по-разному. Они даже ровесники (в отличие от Синявского и Терца — из них, по моему, Терц был старше), но вот гендер у них, кажется, разный. «Гер-

тман» отчётливо мужеска пола и претендует аккумулировать в себе маскулинные черты моей персоны.

«Балла» добрее, проще, контактнее и даже экстравертнее. «Гертман» — жёсткий, желчный, интровертный, критичный. Он явно реалистичнее своей сестрицы, с другой стороны, держит куда большую, чем она, дистанцию между собой и другими. Он организован, даже педантичен иной раз (не дай бог что-нибудь положить не на то место), она — несусветная разгильдяйка (как что-нибудь не на место положит — можно считать, что потеряла). На неё можно влиять, особенно через эмоциональное воздействие. Он независим и самодостаточен. У него очень сильные соблазны быть конфликтным и резкие, до несправедливости, внутренние движения. Она легко идёт на компромисс, особенно из сочувствия и жалости, за что он её очень осуждает.

Она вообще социальнее и «удобнее» его — недаром именно эта фамилия написана в паспорте. Это — я-для-других, табличка на двери, округлая — и ускользящая — до незаметности — оболочка. Её легко не заметить и ничего не стоит забыть. Он бросается в глаза и запоминается надолго, причём далеко не всегда с удовольствием. Он — я-для-себя, трудный, напряжённый, мнительный, у него вечно какие-то претензии к себе, к людям, к цивилизации, к мирозданию, к Бытию. Она — светлая, он — тёмный. Она, дурёха, скорее оптимистка. Он — несомненно пессимист.

Она мыслит образами. Он — словами. Она интуитивна и далеко не всё может (да и чувствует нужным) доказывать из того, что ей кажется и чувствуется. Он — рационален, будучи способен притом не верить даже тому, в чём его долго и старательно убеждают.

Она — лентяйка и пофигистка. Он — трудоголик и перфекционист. Она, кажется, так никогда и не повзрослеет — ей точно не больше двенадцати. Он — от рождения взрослый, ему «всегда было немного сорок лет».

И, как писал Х.-Л. Б., я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу.

Обещание весны

А на улице уже февральский свет. Вот не люблю я весну, трудно мне с ней, требовательная она, вечно тычет мне во все органы чувств моим неуклюжим, тёмным несовершенством — а обещание весны люблю, особенно в самой-самой глубине зимы, когда от весны ничего ещё нет, кроме света, кроме некоторых непередаваемых, непересказуемых его оттенков, которые только у самого глубокого корня весны и возможны.

А весна в чистом виде, бывает, и трудновыносима: слишком велика доза. До человеконесоразмерности.

Вот и думаю: не устроены ли каким-то похожим образом наши (живущих, земных, погружённых во всё земное людей) отношения с вечностью, с вечной жизнью?

Малейшие проблески той реальности, смутные обещания её, лёгкие намёки на неё нам внятны, мы даже их жадно ловим — они наполняют нас радостью и надеждой, в которых нам самим, вероятно, трудно отдать себе вполне адекватный отчёт. Но поставь нас с нею — сейчас, такими, какие мы есть: маленькими, случайными, ограниченными, суетными — лицом к лицу, мы бы, пожалуй, и не выдержали. Захотелось бы отвернуться. «Чересчур» показалось бы.

В этой жизни нам — ну, большинству из нас — по зубам только сдержанное обещание Другого мира, только осторожные-осторожные его прикосновения.

И весна во всех своих стадиях, включая самую начальную, — одно из иносказаний этого. Чтобы мы хоть что-то поняли, пока мы ещё здесь.

Может быть, потому, что в обещании, в предчувствии есть, помимо прочего, ещё и хоть какая-то надежда на то, чтобы стать лучше. Светлее, легче, тоньше, добрее, точнее, гармоничнее... Чтобы однажды хоть как-то, хоть отчасти соответствовать тому свету, который нам обещается.

Нам целый мир чужбина

Ровесники — братья в бытии, соотечественники на чужбине. Всё-таки чем дольше мы живём, тем больше этот самый меняющийся мир вокруг нас становится нам чужим. Нам — родившимся в середине шестидесятых — «целый мир чужбина», а отечество нам — семидесятые годы. Шестидесятые помню плохо, детальками, фрагментами, которые не складываются ни в цельную картину, ни тем более в атмосферу. А вот когда вижу 70-е — в кино ли, на фотографиях, вещи ли оттуда — я сразу и безусловно чувствую себя дома. Ну, думается, вот оно, «естественное», «нормальное» состояние бытия, в котором всё на «своих» местах, все штыри с единственной точностью входят в правильные отверстия. Это, по идее, то же самое, вполне иллюзорное и субъективное, но от того не менее убедительное чувство, поддаваясь которому, старики ворчат, что-де когда мы были молоды, «всё» было несравнимо лучше. (Слава богу, я до этого пока не дошла и постараюсь не торопиться.) Вот о молодости — о восьмидесятых, о первой половине девяностых — мне так совсем не чувствуется. Во всяком случае, это время ещё не вырастило во мне своей цельности*. Сейчас оно вспоминается как немножко нелепое, немножко случайное, в большой мере эклектичное. А семидесятые — само естество: зелёное такое (как вода в стоячем пруду), малопрозрачное, медленное-медленное...

*Примечание 2013 г.: Теперь они эту цельность уже выращивают. Её можно чувствовать.

Об усилии неусилия

Есть труд усилия — и есть труд отказа от усилия. Не возьмусь сказать, какой труднее, — скорее всего, «оба труднее».

О доверии

Настоящее и есть то, что ускользает от пристального взгляда, — а чтобы отвлечь нас, бросает нам в глаза разные детали. И они нас уводят.

А надо бы не преследовать его, а просто позволить ему быть. Дать ему состояться. Тогда-то оно нам покажется и почувствуется.

В сущности, это всё — о ненасилии над реальностью, о доверии к ней. Что, если вдуматься, не исключает ни активности, ни инициативы, ничего такого. Просто всё это способно быть чутким и — не тогда ли только по-настоящему эффективно?

Но, Господи Боже, как же это трудно. По моему чувству, это куда трудней активизма и покорения. Это — так, как если действуешь не один, а вместе со всем, что тебя окружает.

Почему доверие труднее недоверия?

Об удовольствиях и смысле

Подумалось, скорее почувствовалось: сейчас уже удовольствий от жизни не хочу. Сейчас хочу только смысла. Слишком мало жизни осталось впереди, чтобы тратить её на удовольствия. Только — расплачиваться и уходить, как можно тщательнее, добросовестнее расплачиваться, потому что стыдно уйти не расплатившись, и чем меньше впереди, тем стыднее.

Но очень может быть, что это — только рецидивы юношеского максимализма: в юности ведь у меня были точно те же самые настроения, только оправдывались они иначе — «идеология» другая была. И даже не совсем другая. Разве что близость смерти не фигурировала в ней — а неизбежность так очень даже фигурировала.

(На самом деле, можно долго и эффективно рассуждать о том, исключают ли удовольствия смысл, естественно приходя к выводам, что, конечно, же нет, скорее уж напротив, — но чувствуется именно так, как сказано. Есть что-то чрезвычайно

привлекательное, я бы даже сказала, соблазнительное в жёстком аскетизме.)

* * *

В детстве казалось, будто писать мелко (особенно чёрными чернилами) значит писать «серьёзно», «по-взрослому». Написанное мелко автоматически казалось глубоким.

О цельности

Рефлексия имеет для меня витальную ценность — ещё прежде интеллектуальной (вообще противопоставление «чувства» и «разума» кажется весьма искусственным, можно даже сказать, надуманным. Человек куда более целен, чем ему почему-то хочется / привычнее думать). Размышление о жизни, анализ её есть полнота участия в ней; он(о) интенсифицирует её, увеличивает, а не уменьшает, не останавливает и тем более не убивает. Иногда бывает даже так: продумать какое-то событие значит прямо-таки дать ему жизнь, до этого оно лежит в нас (во мне!) пассивной, инертной заготовкой. Собственно, продумать событие и есть как следует, во всей полноте его прочувствовать.

Я как раз люблю жизнь «прежде смысла её» (тоже цитата из сопровождающих) и именно поэтому — анализирую.

Анализ жизни — это признание в любви к ней. И осуществление этой любви. Не расчленение, но участие, со-трудничество.

О смысле жизни

«Смысл» жизни — не то, что придумывается о ней (и, соответственно, формулируется словесно), но то, что её животворит. Что позволяет ей быть жизнью, а не существованием; что побуждает её длиться, когда она норовит иссякнуть.

Это просто слово заставляет нас связывать (не «путать» ли уж скорее?) его с мыслью.

(Что нисколько не отменяет ценности мысли, разумеется. Хотя бы потому, что у мысли тот же источник. Просто мысль — одна из самых-самых интенсивных разновидностей — скорее областей — жизни).

Об избыточности

Избыточность чувствуется мне принадлежащей к сути жизни. И интересна она мне (тянет меня к её переживанию ничуть не меньше, чем к противоположному полюсу — аскетизму) как её, жизни, торжество и доказательство готовности её перерастать всякие рамки и любые рациональные соображения.

Из всех видов избыточности, пожалуй, милее всего мне и наиболее мною освоена избыточность книжная — выраженная в неумеренном приобретении книг, непрерывном их поглощении и заставлении ими в доме всех мыслимых пространств. Причём, как ни наивно, меня веселит и наполняет витальной силой само зрелище стен, заполненных книгами сверху донизу, сама мысль о том, что я хотя бы теоретически могу их прочитать (хотя, даже вполне теоретически, догадываюсь, что всего этого мне не прочитать, вероятно, никогда), что я в любой момент могу взять любую из них и сделать написанное в ней частью своей жизни.

Мне очень мила также избыточность рефлексии. Знаю, что некоторых (может быть, даже и многих, но этого я уже не знаю) это во мне раздражает; мне не раз приходилось слышать: «Ну что ты всё время анализируешь?! Воспринимай просто. ПРОСТО воспринимай!» Нет уж, простите, дорогие мои, — совершенно серьёзно говорю, простите. Мне жаль раздражать людей, поэтому в основном я предаюсь любимому занятию молча. Но честное же слово: отказываться от рефлексии — значит (ну, для меня, нескладной) обеднять себя. Мне в этом хорошо.

И вообще, избыточность и не думает противоречить чувству меры, она его даже предполагает: ведь если бы у нас не было чувства меры, разве мы могли бы оценить избыточность? Если бы не было избыточности, разве почувствовали бы прелесть чувства меры?! Вот то-то и оно.

Эстетика конспекта

В тексте объёмном, избыточном, сохранившем всякие подробности своего становления, больше «воздуха» — поэтому он (как ни странно) менее агрессивен по отношению к читателю. Он более самодостаточен.

Короткий же текст — и в этом его ценность — именно агрессивен. Он — вызов. «Эстетика конспекта»: краткое до формульности обозначение породившей его жизни, которое больше умалчивает о ней, чем сообщает. Он кажется недостаточным и провоцирует к тому, чтобы его домысливать — следственно, оказывается куда более эффективным стимулом внутренних движений читателя. Действует сильнее. Читатель перед ним оказывается более незащищён.

О фотографии

В фотографии — как в типе объектов — несомненно есть что-то мистическое. В ней не то ли важно прежде всего, ещё до всех эстетических качеств, что на каждом снимке — то, чего уже нет и никогда не будет? Каждый изображает несуществующее. Да одно это уже способно с ума свести. Странно, что не существует (или всё-таки существует?) «фотофобия»: такая разновидность фобии, при которой человек боялся бы смотреть на (любые) фотографии, потому что они напоминали бы ему о смерти, об обречённости всего на исчезновение.

По аналогии с фотофобией мыслима (я её даже на собственном примере наблюдаю) и фотофилия. У меня она очень выражена и относится к чужим изображениям: чужих лиц, чужих пространств, всего-чего-угодно. Ведь на фотографии жизнь, остановившись, даёт себя рассмотреть — и это-то и есть самое сумасшедшее, сильнее всего, может быть, воздействующее: то, чего уже нет, мы можем рассмотреть куда подробнее, чем по определению ускользающее настоящее. (Даже собственную физиономию, которая мне, как правило, на фотографиях не нра-

вится, становится интересно рассматривать по прошествии большого количества времени: ведь на старых фотографиях — уже совсем другой человек, в большой мере незнакомый, и то, что я была когда-то «внутри» этого человека, и странно, и наводит на мысли о том, что человек не сводится ни к одному из своих фиксированных состояний... Чуть ли не о бессмертии души: так-де когда-нибудь я и на своё тело извне посмотрю...)

(А ещё помнится мне — до сих пор, иногда возвращаясь с едва ли не прежней остротой — детское наваждение: «войти в картинку» и оказаться там. Вычитала не помню где ещё до школы: если долго-долго смотреть на картинку, можно в неё войти... как хотелось поверить! Вот и в фотографии хочется входить — и сегодня.)

То же — в музеях, которые люблю именно за это: за остановленное время, за вечное настоящее чужого прошлого, которое теперь может быть и моим. (Пожалуй что, Эрих Фромм, с его сильно расширенным пониманием некрофилии, усмотрел бы в этом некрофильские тенденции. Но мне-то, напротив, кажется, что оно всё живое! Это и притягивает.) Почему-то предметы-экспонаты, выпавшие из своих контекстов, совершенно (хотя, может быть, и зря) не связываются со смертью: вот, мол, вещи, принадлежавшие мёртвым людям, которые умерли, а вещи их пережили, и какой ужас. Напротив, вещи, пережившие своих владельцев, ухитряются свидетельствовать о чём-то куда более утешающем. Может быть, даже об иллюзорности смерти. По идее, должно бы быть как раз наоборот, их стоило бы прочитывать как свидетельства мимолётности жизни — ан нет: они, напротив того, твердят о том, что жизнь простирается за свои границы. О неуничтожимости жизни. Музеи и старые фотографии — стимулы самых интенсивных метафизических переживаний.

К антропологии вещи

Предметы (помимо своего утилитарного назначения, которое, кажется иногда, даже не самое в них главное) существуют

«для того», чтобы нас уязвлять, провоцировать в нас внутренние движения — вплоть даже до мысли. Они — стимулы наших собственных внутренних форм.

Anthropologia personalis

Человеческое и боль — едва ли не синонимы. Человек — режущийся зуб Бытия.

Кому ничто не мелко

Ведь каждый исключителен (честное слово), и в мелочах это тоже проявляется, — более того, в них, может быть, в первую очередь.

Когда нам случается кого-то любить, именно это нам в глаза о любимом и бросается: мелочи — как бы скоропись его значительности. Аббревиатуры её.

Впрочем, о любимых это понятно. Но ведь и нам самим те же самые мелочи — задавая наши координаты в бытии — посылают «сигналы» о нашей совершенной исключительности. То есть, никоим образом не факт, что она — повод к самолюбованию, скорее совсем наоборот, к великой ответственности, — да я сейчас не об этом. Я о том, что они, эти «случайности», специально для того и созданы: чтобы заострять наше внимание на неслучайности всего. Они — речь, и очень отчётливая. Конечно, они — иносказание, но, видимо, иносказание того, о чём не скажешь по-другому. Они тем и хороши, что это — понятная и человекосоразмерная речь, без крика, давления и пафоса.

Мне всегда были интересны люди, которые к ним внимательны. (Нечего и говорить, что внимание к мелочам и мелочность — вещи весьма друг от друга далёкие. Первое предполагает перспективу, в которую они встраиваются.)

Открытие повседневности

Одним из главных направлений моей эволюции последних двадцати лет кажется мне — постепенное и неочевидное — открытие повседневности. Открытие её как полноценного и сложного смыслового мира (в котором, более того, всё главное и происходит: выращивается, собирается..) — «критические», «пиковые», чрезвычайные события только дают толчок к этому, поставляют материал. Повседневность — такой смысловой желудок, в котором всё переваривается со столь же тщательным, сколь незаметным извлечением и впитыванием жизненных соков. И повторяемость её структур (сугубо формальная: ибо всё, что делается больше одного раза, всякий раз делается по-разному. Формальная повторяемость — лучшая форма накопления опыта) — как раз то, что надо для правильного переваривания и глубокого усвоения.

Лет в двадцать—двадцать пять я была ещё совершенно в плену «романтических» мифов о повседневности и быте как царстве «косности», источнике отупения и, в пределе, гибели личности — достоинство же этой последней, разумеется, должно состоять в том, чтобы изо всех сил вырваться за пределы повседневности, по крайней мере, не обращать на неё никакого внимания. В юности я от неё уходила. Сейчас я в неё всматриваюсь и даже иногда с нею сотрудничаю.

Один из важных пунктов этого открытия: нет ничего более противоположного косности, чем повседневность. Косны, крикливы, навязчивы, агрессивны скорее уж Большие События. Она же исключительно чутка и пластична — куда более, чем, например, высокие идеи: ведь именно ей предназначено всё (те же высокие идеи) адаптировать к человеку, вращивать их в человеческие структуры — обживать, делать своим. Именно повседневность с её ритуалами даёт человеку силы существовать внутри катастроф. Она — жизнь «с человеческим лицом», она — пласт бытия, примИряющий нас с миром и примЕряющий нас к нему.

И ещё она — среда, которая даёт людям чувствовать друг друга. Большое Чувствилище. Быт, традиционно-романтически

проклинаясь мною в начале жизни — просто идеальная (если его как следует использовать: ведь повседневность инструментальна!) совокупность щупалец, которыми мы можем протягивать Другому кусочки бытия — нужного размера (они хорошо приспособлены для дозировки). Прогреть — или остудить — это самое бытие до нужной температуры. Быт — система тонкой настройки, «тюнинга» бытия (даже Бытия) под нас. Собственно, быт — это область диалога с Бытием: мы Ему — своё, Оно нам — своё, и всё это на таком языке, который понимают оба участника. С Природой так не поговоришь небось (ну, может быть, на каком-нибудь дачном участке... впрочем, подозреваю, что это — тоже часть быта. Для диалога с Природой специально).

В юности быт (как стихия, если угодно; но также и быт собственной семьи как конкретно-историческое явление) был для меня чужим, и я чувствовала себя незащищённой. Сейчас я чувствую его на себе как защитную шкуру, которая при всяком моём движении принимает мою форму.

* * *

Совсем не успеваю жить — только внутри себя. А жить-то хочется в разные стороны. И изо всех сил. А так — получаю какой-то аббревиатурой самой себя, скомканным неразборчивым иероглифом.

Все эти «дела» — только повод жить. Просто форма — чтобы жизни было на что опереться.

Об избыточности и освобождении

Думала о том, что в моём восприятии дома напротив есть что-то несомненно избыточное. Поскольку я смотрю на него ни много ни мало всю жизнь, я уже не умею воспринимать его как (просто) дом, как дом вообще. Это — скорее вечно следящее за мною — взглядом взрослого, ибо старше меня — лицо со своими выражениями, каждое из которых — память о чём-то моём. И вся она ко мне вместе с его выражениями возвращается, во всех

подробностях. Дом говорит со мной взрослыми повелительными интонациями — мудрого, терпеливого взрослого, который уже устал от моего бесконечного неуклюжего несовершенства, но ему некуда от меня деться.

Нельзя всё-таки — думается / чувствуется иной раз — так долго жить на одном месте, надо уезжать (желательно с замахом «навсегда» и, в идеале, далеко — для пущей радикальности смены условий существования). Когда так долго живёшь на одном месте, каждый предмет в нём протоколирует тебя, постоянно тебе тебя же из каждого угла и возвращает; каждый не сомневается, что «и он тоже Собакевич», и все они вместе выдают чересчур детальное твоё описание. Это пространство слишком много всего накапливает в себе, в том числе и такого, от чего всей душой хочется (да и стОит, думаю!) освобождаться.

Мнится, будто ездящий-переезжающий — внутренне легче и гибче. Он даже внутренне моложе, потому что все его возрасты не глядят так на него отовсюду; потому что в каждом своём новом месте он хоть немного да изобретает новую версию себя — хоть немного да уточнённую, улучшенную.

А живущему на одном месте приходится — «уродство обрекает на акробатику», как сказал Борис Леонидович П. — изощряться в изобретении хитроумных техник освобождения от (каких-то частей) себя, — техник, не связанных с пространственными перемещениями. Пространственная статика обрекает на внутреннюю виртуозность, вынуждает к ней.

Так что, может быть, мы, на-одном-месте-сидящие, ещё и погибче странствующих.

О простоте и сложности

Вот как стоило бы жить: быть сложной для себя (и для Бога — хочется оговориться, со всей осторожной оглячивостью моего неверия. Перед Его взором было бы грешно себя спрямлять, тем более, что Он и так видит. Перед Его лицом нужна работа другого типа) и простой для других. Сложное — убирать:

это — кухня, мастерская, чад и варево, визг рубанков и стук молотков. До простого, безусловно, надо дорабатываться. Мы столь же не вправе никого обременять собственной сложностью, как не вправе заставлять кого бы то ни было вкалывать на нашей внутренней кухне-мастерской, выделявая лишь нам одним порученный, нашей только ответственности вверенный продукт. Ещё короче: сваливать на других нашу сложность — значит заставлять их работать за нас. Всё надо делать самой.

Это не лицемерие, о нет! (по крайней мере, я надеюсь на это), но всего лишь аккуратность и добросовестность — доведённость внутренней работы до конца.

О бесцельном

Когда на улице солнце, тепло и видно далеко во все стороны, ходить по этим улицам представляется не только необходимостью, но даже своего рода обязанностью (перед собой — во всяком случае). Таким образом набираешься бытия — сырого, свежего бытия, которое потом долго-долго будешь перерабатывать — перегонять в смыслы. Может быть, и всю жизнь, и такое возможно: случаются такие как будто ничем — кроме разве своей общей повышенной интенсивности — не отмеченные дни, из которых мы потом тянем смыслы всю жизнь, накладываем их, как матрицу, на наши внутренние события. Хотя в такой день может не происходить совершенно ничего, кроме, допустим, пешей прогулки из пункта А в пункт Б. О, чем ближе я к концу жизни, тем острее знаю, насколько способны быть переполнены смыслами такие по видимости бессмысленные действия. Ведь это наш диалог — всем телом — с жизнью в целом. А кто знает, может, и с её Создателем.

Всё бесцельное, может быть, — «молитва атеиста», как сказал один человек в ЖЖ, — потому что в нём узко поставленная, заведомо условная цель не заслоняет от нас Целого. Позволяет Его всеми своими сторонами переживать, даже и теми, о которых мы сию минуту ничего не знаем. (О верующих

и не говорю — но судить об их опыте не возьмусь, поскольку не принадлежу к ним.)

Впрочем, думалось мне и о том, что и в работе — едва ли не в любой даже, была бы организована да направлена — тоже «есть что-то от молитвы». Впору задуматься о том, что в жизни вообще что-то есть от неё: в любых достаточно интенсивных её участках.

Бесцельное заведено Создателем, как известно, для того, чтобы подчеркнуть — и нам дать прочувствовать — всю относительность, преходящность, заведомую условность, в конечном счёте, мелкость наших целей («Как мелки с жизнью наши споры! Как крупно то, что против нас!»). Бесцельное — это голос Крупного. И гораздо более громкий, между прочим, чем голос Целенаправленного. Просто этот последний нам более внятен. Он «антропоморфнее».

Если целенаправленное — арифметика Бытия, то бесцельное — его алгебра. Для своего понимания и прочувствования (без последнего — никак; я вообще включила бы «чувство» — эмоциональную и интуитивную компоненту восприятия — в число полноценных инструментов, например, философствования — понимания вообще, — «богословствования», должно быть, тоже), так вот, для своего понимания и прочувствования эта «алгебра» требует несколько (может быть, и существенно; принципиально!) другой внутренней (может быть, и внешней?) организации воспринимающего.

Но сейчас я всего лишь о том, что есть дни — да вот и сегодня был такой! — когда сам Бог велел набираться жизни «прежде смысла её». (Всякое хорошее «прежде смысла», смыслом своим не озабоченное, как показывает опыт, обычно оказывается самым плодотворным, самым неисчерпаемым источником смысла. Вот и с любовью так: именно тогда сильнее всего и думаем, когда крышу сносит и «разум обугливается».) Представляется достаточным просто быть посреди этого дня, вдыхать его воздух, чихать от его запахов, жмуриться от его солнца, ёжиться и зябнуть под его ветром — позволить ему охватить себя, — совсем не обязательно делать при этом что-то «осмысленное»: день — и воплощённая

в нём полнота всего — сделают всё сами. Надо отдаться на их волю, не ставя между ними и собой перегородок из рефлексии, из заранее заготовленных планов.

Вспомня прежнюю любовь

Каждая любовь — а было у меня их очень немного, зато они силой «взяли» — виделась мне отдельным жизненным проектом, отдельным (это только звучит рассудочно, а переживается-то всем существом) смысловым комплексом. (Может быть, ещё и поэтому их было так — до исключительности — мало. Имею в виду именно собственную любовь к кому-то, независимо от степени её безответности.) Переживалась как связанная с необходимостью формировать себя в определённой смысловой перспективе. Связывалось это всякий раз не только с ответственностью за другого (которая, к счастью, всё-таки была), но и с ответственностью за себя (перед кем? ну уж точно не перед собой: перед трансцендентным каким-то Наблюдателем, должно быть): кем я буду, кем я могла бы быть, если бы была с этим человеком?

(Потому-то несбывшиеся — не развернувшиеся в состоявшийся жизненный проект — любви неизменно переживаются мною и по сей день как неразработанные собственные «антропологические» перспективы. = Я не так уж много в этом смысле оставила несостоявшихся своих личностей позади себя — всего две. Но самую первую мне почему-то жаль и по сию минуту, настолько жаль, что я все двадцать четыре уже миновавших с того времени года так или иначе стараюсь воспроизводить, хоть как-то осуществлять хоть какие-то черты этого несостоявшегося человека. Хоть как-то быть им / ею.)

Причём случалось такое только и исключительно тогда, когда «разум обугливался» (так выразилась Татьяна Щербина в «Запасе прочности», мне очень понравилось) — иначе просто речи не заходило ни об ответственности, ни о глобальных проектах и смысловых комплексах, ни о рефлексии, ни о чём вообще.

(Каково: «обугливание разума» как [необходимое!] условие полноценной рефлексии! — А ведь именно так.)

Вспоминая сейчас каждую из своих любовей — опять-таки всё равно, в какой степени та оказывалась безответной, — думаю я о том, что каждая из них одарила меня тем или иным видом интенсивности. Внутренней, разумеется, прежде всего. (И совершенно конкретными, открытыми тогда, «смысловыми полями».) Даже так: заставила научиться этой интенсивности, вытолкала, выпихнула меня в неё. Всякая любовь была ломкой (нет, мягче, горячее, плавнее: плавлением) стереотипов, успевших ко времени её начала во мне назастьваться. Каждая — опять же независимо от того, в какой степени сбылся замышлявшийся в ней мой «человеческий проект»! — оказывалась в некотором смысле рождением заново. Да, «что-то» не сбылось (очень многое) — но что-то сбылось безусловно; и более того, сам факт того, что нечто не смогло состояться, послужил стимулом некоторой (компенсирующей, вероятно) интенсификации.

Несбывшееся — думаю поэтому — в той или иной форме всё равно сбывается. Просто вместо прямых путей оно избирает себе окольные. Ясное дело, неизвестно, какие из них окажутся более плодотворными: запросто может быть, что и вторые. Только это не значит, что «не надо жалеть» об утраченном и несбывшемся. Жалеть надо. Уж хотя бы потому, что это — адекватная форма отношения к несбывшемуся и утраченному; что это — своего рода даже вежливость по отношению к нему. Не оплакивая утраченного, мы не оценим его как следует; не проживём по-настоящему ни его полноты, ни полноты жизни вообще. «Позитив» — уозсть.

Я бы даже сказала, что, сожалея о несбывшемся, мы эту его полноту выращиваем. Создаём. Есть вещи, которым необходимо не сбыться, чтобы они выросли в нас во весь рост.

* * *

Свобода не чувствуется мне самоцелью — при всём несомненном переживании её ценности. Мне всё-таки упорно чувствуется, что она — ценность инструментальная. Она дана нам для чего-то ещё. Она — путь, а не конечная точка.

Любовь — ближе к «цели». Но самоцельна ли она? не инструментальна ли в какой-то мере? Сию минуту не знаю, но думаю, что, скорее всего, да: всё наше земное существование, не исключено, один большой инструмент. Даже в его «самоцельности».

Прежде смысла её

Подумалось на ходу: «смысл» (хоть бы и «смысл жизни») — мёртвое, остановка. Жизнь только и делает, что перерастает его, превосходит, проблематизирует. Не то чтобы у неё вовсе его нет: как же ему не быть, только он — шкурки, которые она постоянно с себя сбрасывает. Только ухватишь — в тот самый момент, когда ухватишь, её уже там нет, она дальше пошла — а у нас в руках нечто, лишь сохраняющее её форму.

«Смысл» жизни — побочная её продукция. И может быть фиксирован только *post factum*. Пока жизнь происходит, смысла у неё ещё нет: у неё возможны, в пределе, все смыслы.

О типах жизни

Два типа жизни — целеориентированный и ценностно-ориентированный. В процессе биографического развития у меня, например, произошло отчётливое смещение от первого сценария (как «идеального», исчерпывающего соответствия которому и раньше не было и теперь нет, да вряд ли и возможен; хотя как знать?) ко второму. Более того, это развитие сопровождалось и нарастающим же чувством глубоко инструментальной природы так называемых целей.

Номо (non) viator

Интересно, у часто и/или далеко странствующих людей действительно ли развивается и складывается особый, скольконибудь отчётливый комплекс психологических качеств: осо-

бенностей восприятия, мышления / формирования суждений, поведения, эмоционального реагирования.. который заметным, «статистически значимым» образом отличал бы их от домоседов — неважно, добровольных ли, вынужденных ли..

Смешно сказать, мне упорно кажется, что моё подолгу-никуда-невыезжание (а главное — отсутствие далёких путешествий в совсем непривычные места, такие, которые потрясали бы душевный уклад и проблематизировали бы умственные привычки) в буквальном смысле делает меня хуже. Приводит к узости и косности мыслительного и душевного порядка. Сразу оговорюсь, что признаков упомянутых узости и косности я у себя (пока?) не наблюдаю; но ведь их запросто можно и не замечать.

Где-то вычитала недавно о представлении некоего, кажется, англичанина, согласно которому ездить надо с той же регулярностью и непременностью, с какой, например, и умываться: вопрос «душевной» (заодно и умственной) гигиены, поддержания определённого душевного и умственного тонуса. Я бы добавила, что — пластичности и остроты восприятия. Это-де нас затачивает, как карандаш.

Более всего мне интересно — проверялось ли нечто подобное объективными методами, исследовали ли такую связь (между путешествиями и качеством + количеством внутренней жизни) психологи? И если вдруг да, то что у них получалось?

О внутренних людях

Люди бывают — по типу наших отношений с ними — не только «свои», «близкие», «далёкие», «чужие» и «безразличные» (ну и ещё какие-то, кого я могла забыть перечислить). Они бывают ещё и внутренние. Это — те, кто составляют устойчивый факт нашей внутренней жизни; о ком мы думаем, чувствуем, воображаем независимо от степени их близости или дальности и вообще от степени нашего знакомства с ними (я думаю, даже от степени их реальности). Они принадлежат к особому, внутреннему пласту реальности и влияют на нас иной

раз существенно сильнее людей близких и вообще реальных. Конечно, упрощённо говоря, это мы сами на себя таким образом влияем — но это ещё не вся правда: такие внутренние образования имеют — подобно литературным героям у писателей — высокую степень автономности и неожиданности, а также неподвластности для своих «носителей».

Об адресованности

«Адресованное» — то, что чувствуется предназначенным к проживанию; настойчиво меня к этому проживанию подталкивающим, притягивающим. Имеющим какое-то отношение лично ко мне — хоть бы и непонятно какое, как оно чаще всего и бывает. Причём отношение существенное, явно задевающее личностное «ядро» (этим оно отличается от просто «интересного», наверное, как-то представляя собою одну из его разновидностей). = Прожить — как угодно: не обязательно так или иначе поучаствовать в судьбе проживаемого, не обязательно прикоснуться, пощупать, дать себя заметить ему, но и просто — посмотреть, понаблюдать, послушать, повоображать.. Бывает по-разному, причём сию минуту я (ещё?) не умею чётко дифференцировать такие случаи.

Но очевидно, что «адресованное» не совпадает вполне ни с одной из таких категорий, как, допустим, не только «интересное», но и «своё», «чужое», «волнующее», «проблематичное»... Частично может совпадать, но явно образует суверенную категорию.

И о людях-стимулах

Персональная антропология непременно должна быть дополнена формулировкой о людях-стимулах: таких, в которых что бы то ни было — независимо от их сознательного намерения — вызывает в нас потребность в существенном (напоминая

о нём; давая, хоть смутно, почувствовать его). Таких (я опять же не знаю, с каким «объективным» набором качеств это может быть связано), что хочется жить сильной, значительной, крупной жизнью просто от знания того, что этот человек есть.

Ад — это тоже мы сами

...так вот «зачем нужны» другие: чтобы достраивать нас до цельности. Чтобы хоть как-то компенсировать нашу неизбежную частичность тем, что они становятся частью нас самих (пусть даже противоречащей нам, конфликтной частью — тем вернее) и тем самым увеличивают количество жизни в нас.

Вообще подозреваю, что границы между людьми на самом деле иллюзорны и пересекаются незаметно. В тот самый момент, когда мы готовы думать, что «есть в близости людей заветная черта...» и т.д. — «другой» уже стал нами самими. Мы ловим себя на его жестах, его интонациях, его привычках. Человеческое — ВСЁ человеческое — вообще в большой мере заразительно.

О соучастии в творении

Очень понятна мысль о добре и зле как результате постоянного выбирающего усилия, постоянного напряжения — что никоим образом не означает их относительности или отсутствия ориентиров. От того и труд, от того и выбор, что ориентиры есть, а данный нам, в нашу власть материал (включая нас самих) сам по себе способен дать основания для самых разных выборов. Он сам по себе как будто ничего не подсказывает: собственными усилиями мы придаём «изначально бескачественному» — качественность, и она уже закрепляется за ним навсегда. После сделанного выбора, чувствуется мне, материал, изначально пластичный, как бы «застывает», впечатывая в себя — и в нас — этот наш сделанный выбор.

В каком-то смысле этим своим выбирающим усилием мы соучаствуем в творении — которое ведь ещё не закончилось, оно происходит всё время и не закончится, вероятно, до самого Страшного суда.

О цельности

Мозаичность — составленность занятий ли, образа ли жизни, чего бы то ни было из разнородных и между собою не связанных кусков — и не думает противоречить цельности. При — вполне вероятно, неминуемой — мозаичности цельность возникает тогда, когда между фрагментами «мозаики» образуются скрепляющие их, увязывающие их в некоторый осмысленный континуум связи — едва ли не сами собой, важно увидеть. В этом смысле вполне могу принять цельность как идеал, как задание себе: найти и / или создать между фрагментами своей внутренней и биографической мозаики такие связи, которые делали бы их отношение друг к другу осмысленным.

Об универсальности

Если принять, что «молодость» (как набор моделей внешнего и внутреннего поведения, типов чувствования) — это готовность меняться (чреватая аморфностью и легковесностью), а «зрелость» — готовность удерживать завоёванные позиции (чреватая косностью, узостью и вязкостью), то оптимальным — показателем настоящей внутренней зрелости — было бы умение сочетать оба этих элемента в себе, чутко чувствуя всякий раз, когда усилить какой-то из них, когда ослабить. Умение управлять всеми набранными в себя к данному моменту моделями. Непозволение ни одной из них подчинять нас себе, вертеть нами.

В этом смысле идеальная «зрелость» — это универсальность: соединение в себе всех возможных возрастов, всех позиций. «Всечеловечность».

Черновик бытия

Весна — черновик бытия, небрежный набросок мира, в котором, кажется, ещё всё возможно. Должно быть, это необходимая инъекция пластичности человеку, закосневшему в своих повторяющихся обстоятельствах. Совсем ничего не имею против повторяющихся обстоятельств, автоматизмов, так называемой рутины — напротив того, мне чувствуется, что они поддерживают человека (особенно если этот человек — я), позволяя ему спокойно заниматься внутри себя самыми отвлечёнными вопросами: это как (невидимый) скелет, на котором может спокойно держаться какое угодно мясо. Но очень хороши бывают прививки от излишнего доверия к устоявшемуся, от эдакого экзистенциального расслабления; простейший из них — смена сезонов, сквозняк весны, когда сама ткань бытия кажется прозрачной, расплывающейся под пальцами, ненадёжной. Чуть-чуть проглядывает за ней — чтобы летом опять зарости листвой, скрыться ею от изумлённых глаз — несказанная метафизическая основа. Так бывает дважды в году — весной и осенью, после которой «скважины между мирами» заваливает снегом, и человек опять чувствует себя всю зиму надёжно и уютно. Весна — озноб и лихорадка, весна — сползание шкур, сползание самого мяса... К счастью, это длится не так уж долго: к концу апреля деревья облегчённо выстреливают листочками — и начинается посюстороннее, чувственное, простодушное буйство зелени, успокаивающее, отвлекающее наше внимание...

Весна — всё-таки попытка создания мира заново, она демиургична, поэтому — как во всяком соприкосновении с творящими силами — в ней не может быть известной доли жуткого, неопределённого, хаотического.

Весна — всегда немного экстремальный опыт.

О повседневности

Простой взгляд в небо — уже опыт безмерности.

Повседневность парадоксальна, насыщена глубинными токами, которые, казалось бы, в любой момент готовы её в клочки разнести. Безмерное случается не в каких-то особенных, исключительных точках: оно рядом, оно всегда.

Повседневность с некоторых пор неизменно удивляла меня, приковывала внимание тем, что в ней ухитряется помещаться абсолютно всё. Это — картина без рамы. Любой тип опыта, претендующий быть особенным, непременно заключён в какую-то раму — выключен из повседневности, обставлен особыми условиями и условностями: литература, театр, наука, философия... Они как раз существуют за счёт того, что в них многого — принимаемого в данной ситуации за лишнее — нет, оно из них выключено. А вот повседневность не исключает из себя ни-че-го. В неё всё помещается: и смерть, и небо, и мытьё посуды, и неистовая любовь, и ковыряние в носу, и рождение, и сон до полудня — и всё это живое и сильное — и просвечивает друг в друге — именно потому, что оно вместе. Может быть, поэтому так называемая повседневность — самый сложный — и самый перспективный — объект рефлексии вообще и изучения в частности.

О работе забвения

Голос несёт в себе форму всех, к кому когда-то был обращён, и это всё время чувствуется. Мы вообще, во всех подробностях, слепок с нашего прошлого опыта, поэтому он весь с нами.

Может быть, забыть вообще ничего невозможно: чего не помним головой (в конце концов, она — только маленькая часть и памяти, и опыта, и далеко не всегда определяющая), то помним иначе: у памяти так много разных органов, что, собственно, весь человек — один сплошной орган памяти.

Поэтому работа забвения, работа освобождения превращается в особую задачу.

О внутренних событиях

Чувство работает в нас само.

Можно сидеть и «ничего» не делать, то есть делать что-то совершенно не связанное с нашими внутренними событиями, даже умственных усилий никаких не прикладывая к происходящему: читать книжку, думать о другом — но при этом действуют, едва ли не сами собой, некоторые внутренние мускулы — и движение их совершенно ощутимо: слышно, как чувство перекачивается в нас — сжимается, разжимается, поворачивается — меняет форму: теряет её, снова обретает... — и внезапно, как бы вдруг, из ничего, без всяких собственных усилий, мы застаём себя перед результатами этих внутренних самопроизвольных движений, как перед неоспоримым фактом. Который нас ещё и подчинить себе не может — во всяком случае, заставляет с ним считаться.

О непрямом уточнении

Так хочется назвать своеобразный смысловой процесс, происходящий в нас, например, при чтении, но способный происходить и вообще при восприятии чего бы то ни было. Суть его в том, что воспринимаемое вдруг — благодаря случайной, побочной зацепке, ассоциации — фокусирует наше внимание на чём-то, присутствующем в нашей жизни — и заставляет, по крайней мере, подталкивает нас к тому, чтобы проделать с этим новонайденным некоторую внутреннюю работу. Хотя, казалось бы, не имеет к нему никакого — во всяком случае, прямого — отношения. Вообще, делает очевиднее, отчётливее рельеф внутренней жизни, не высказываясь о нём прямо, а как бы выделяя его на своём фоне. (Поэтому так хорошо думается и многое придумывается в поездках — глядячи на незнакомые окрестности, во время чтения — особенно чего-то необязательного, — а не тогда, когда сядешь и начнёшь думать специально.)

Подозреваю в этом один из основных механизмов, по которым складывается внутренняя жизнь. «Прямые» уточнения про-

исходят даже реже. Основное душевное (включая умственное) зрение человека — боковое; основные душевные события — фоновые. Лишь на заключительном этапе своего формирования, созревания они вырываются на «авансцену» сознания и заставляют нас считаться с ними как с фактом.

Всё это к тому, чтобы доверять спонтанной смысловой работе в себе, не ставить ей препятствий, быть к ней чуткой. Главное — растормозить (хотя бы не тормозить) в себе соответствующие процессы.

Брайль

Может быть, по отношению к миру незримого мы — слепцы, которым чувственные вещи этого мира даны как что-то вроде азбуки Брайля. Ощупывая их, мы способны составить себе некоторое представление — не исключено, что даже довольно точное — о том, что нам написали: это наша (почти?) единственная, но в своём роде полноценная возможность.

О производстве опыта

Опыт — не то, что было пережито (оно в «чистом» виде, кажется, вообще никогда не дано. Нет никакого «чистого» вида. Оно уже в момент переживания — не то, что «было на самом деле»: придумывается, уже возникая, а чем дальше, тем больше). Опыт — даже всего раз пережитый — находится в состоянии конструирования, пока человек жив. Фактически он (пере)конструируется всякий раз, как мы о нём рассказываем — себе ли, другому ли — или даже просто вспоминаем, не переводя в слова. Всякий раз в эту новую конструкцию опыта входит много чего: и новые обстоятельства, среди которых он вспоминается; и текущие ожидания адресата воспоминания (даже если это мы сами), с которыми так или иначе приходится считаться — хотя бы в виде полного их отрицания или оспаривания. Всё это — незаметным для нас образом — начинает принадлежать к существу

опыта, просачиваться в его ядро. Человек — существо не просто самоконструирующее: он конструирует и то, что уже прошло. Человек — существо с «непредсказуемым прошлым»: это не особенности отечественной исторической памяти, как думали в эпоху перестройки — это видовая характеристика.

Об инструментализации тревоги

И страх, и отчаяние, и невозможность, и безнадежность — всё надо проживать в полный рост.

Уметь жить с тревогой. Не избегать её (ну уж и не смаковать, наверно), но жить с нею: сделать из неё инструмент для расширения ВИдения — мира, жизни, удела человеческого. «Инструментализировать» тревогу. Поставить её на смысловую службу себе, сделать её одной из питательных почв для выращивания собственной свободы (тот свободен, кто умеет жить с собственной тревогой, не выбиваясь ею из колеи, не ослепляясь ею).

Пусть тревога будет глазом: огромным, чёрным, распахнутым глазом, которым мы смотрим в ночь. Пусть она будет прибором для ночного ВИдения.

Об исчезающем

В сущности, всё, что переживается нами сию минуту, достойно оплакивания. Уже теперь, пока оно живо.

Стимульный материал

Может быть, вся совокупность явлений и предметов мира и каждый из них в отдельности — стимулы нам к тому, чтобы быть человеком / всё время им становиться. Может быть, оно «всё» затем задумано, чтобы выводить нас из равновесия, провоцируя на (самопревозмогающие, самосозидающие) усилия.

Нам и мир дан на вырост. Затем и дан — такой огромный, такой несоизмеримый с нами, такой неожиданный, — чтобы мы росли, тянулись, чтобы не останавливались: мир как непреходящий стимул. К тому, чтобы быть человеком — величиной динамической по определению.

И не затем ли нам ещё ко всему прочему мучительное чувство преходящести, обречённости всего, чтобы мы искали неизменного?

Об инструментальности смысла

...да, может быть, и сам смысл инструментален — и ведёт к Надсмысловому: к Условию и Источнику всех смыслов.

Поэтому-то есть большая правда в том, чтобы «жизнь полюбить прежде смысла её»: известный и внятный нам смысл всегда, неизбежно будет меньше того, что есть на Самом Деле.

В любви есть доверие (они вообще в глубоком родстве): «полюбить» жизнь = отнестись к ней доверчиво, позволить ей быть тем, чего мы от неё не ждём, чего мы о ней не знаем. Просто памятуя о том, что мы, со всем нашим знанием — всегда меньше её. Позволить ей *быть*.

О природе слова

Во всяком слове — уже вследствие его словесной природы — есть что-то магическое: <i>заговаривание</i> мира, убеждение его действием (слово — это действие, притом имеющее прямое отношение к природе мира — имеющее общую с ним природу), стремление — неважно, насколько осознанное — придать миру свою форму. Даже если это какое-нибудь простое бормотание «раз, два, три...» или просьба купить картошки. Тем более, если нет.

Интонации бытия

Близкие нам, важные для нас люди — интонации бытия, с которыми оно обращается к нам.

Разумеется, эти интонации «подобраны» так, чтобы нам было понятнее всего — и чтобы нас чувствительнее всего задело.

И не слышать при таких условиях можно лишь разве что вследствие глухоты, притом, весьма вероятно, добровольной.

Упрямое: о красоте

А всё-таки красивые люди напоминают нам о потенциальном совершенстве бытия и о таинственной гармонии его истоков. Уже хотя бы за это стоит быть благодарными им — просто за то, что они есть, даже если это нам, некрасивым, мучительно. А так нам и надо. Чтобы помнили о гармонии и совершенстве — хотя бы как о потенциальных возможностях — и тянулись к ним. Всеми доступными нам силами. Не красотой, так любыми другими средствами — путей в мире много.

Работа существования

Существование — это вообще работа: преобразование хаоса в космос, терпеливое, последовательное, обречённое противостояние распаду. Всё существование, целиком — от начала и до конца.

Может быть, всё, что мы делаем — это формы выработки свободы. Побеждая хаос и неоформленность пусть даже на самом маленьком участке, мы делаемся сильнее хаоса — и, значит, свободнее.

Понятно, что свободу надо постоянно добывать — усилием. Понятно, что она — величина динамическая, существует только

в движении — как своё осуществление. И всё-таки кажется, будто каждая из добытых нами крупинок свободы, будучи раз добытой, не пропадает: сохраняется в «структурной» памяти, направляет последующие движения. С каждой такой добытой крупинкой человек становится немного больше себя прежнего.

О норме и форме

Нормы — любые: спущенные сверху, идущие извне, изобретённые нами для себя самостоятельно — призваны задавать нам форму и границы: чтобы вписывались, не расплывались. В наших отношениях с нормой сочетаются статика и динамика, причём необходимы обе. То есть кроме нормы как таковой — совокупности фиксированных, «статичных» точек отсчёта — существует ещё и область наших — «динамичных» и неминуемо сложных — взаимоотношений с нею: как раз во время её применения, адаптации нас к ней и её — к нам. В этой области одновременно происходит и спор с нормой («эксперименты» с ней), и спор с самими собой, и пересмотр нормы, в том числе подспудный, неявный — процесс её текущей выработки, который за пределами некоторых «точек осознания» может оставаться незаметным и в «точках осознания» заставить нас врасплох.

О напряжении защиты

...Кроме всего прочего, присутствие другого — это труд, уже простое присутствие: уже самим своим физическим нахождением рядом с нами другой «вынуждает» нас прикладывать (самодисциплинирующие) усилия, сообщает нам напряжение по всему нашему «контуру». Напряжение защиты нас — от него и его — от нас. Напряжение держания себя в некотором приемлемом порядке. = Чередование уединения и чужого присутствия так же необходимо (при всей, о, часто! некомфортности последнего), как чередование вдоха-выдоха, систолы-диастолы.

О стыде

А вот и определение стыда — моё, рабочее, карманное, для себя, — другим, может быть, и не пригодится. Стыд — это чувство собственной недостаточности, собственного недотягивания до того, что сама же чувствуешь для себя меркой, мерой, нормой. Это только кажется, что стыдно бывает перед «другими»: так и хочется сказать, что так «нарочно» устроено, для убедительности, для внятности (в конце концов, что на самом деле думают «другие» и долго ли они помнят то, что с нами связано, нам совершенно неизвестно). «Другие» — только иносказание нас самих. Стыдно бывает только перед собой.

Об основах этики

По моему чувству, основы этики — как и основы *всего* — не могут быть рациональны, то есть рационально сформулированы (тем более, что, по моему опять же чувству, «рациональное» — поддающееся рациональной формулировке и тем более рациональному контролю и формированию занимает и в человеке, и в мире ограниченное и, весьма вероятно, даже не такое уж большое место).

Чувство, лежащее для меня в основах этики, я бы назвала чувством того, что ВСЕ люди — буквально все — имеют отношение друг к другу и связаны друг с другом. Совсем коротко: чувство связи; чувство себя как узла в некоей большой — и очень чувствительной — ткани. Иногда у меня бывает чувство (у сумасшедших, воображаю себе, оно могло бы развиться до полноценного бреда), будто всякое моё действие способно отразиться на «качестве» мира — мира вообще, в целом, — на его состоянии. Не потому, что я будто бы представляю собой что-то важное — это уж точно нет, но потому, что каждый из нас соединён с миром существенными связями. Обосновывать это не возьмусь. Мне это даётся как некоторая внутренняя очевидность — с высокой вероятностью,

разумеется, имеющая культурно обусловленное происхождение. Но поскольку сама этика — вещь культурно «инкорпорированная» и вне культуры как системы условностей и опосредований, по всей вероятности, не существует (она — один из способов в ней ориентироваться) — такое происхождение интуиции вряд ли обесценивает её.

О чужих пространствах

Чужие пространства, в отличие от упомянутых Василием Васильичем Розановым, других людей, всё-таки прибавляют душу, а не убавляют — но по-настоящему её прибавленность начинаешь чувствовать, и то постепенно — когда вернёшься в своё пространство: в это неперемное и естественное условие самой себя.

В Москве мне дышится свободнее всего — и крупнее всего. Прямо физически, по обыкновению. Я и сама этому удивляюсь, потому что освободить, по идее, должны бы как раз пространства чужие и неожиданные, а не эти вот, под завязку набитые собственным опытом и из каждого угла голосащие «И я тоже Собакевич». Но реальность, как водится, не намерена согласовываться с нашими идеями и ведёт себя по-своему.

Кстати: в состав самой идеи Москвы для меня неизменно, уже много лет, входит тот предрассудок (а что же, как не предрассудок, если оно опережает всякое суждение, навязываясь к нему в условия?), что для полноты и объёмности переживания — и её, и самой себя, и реальности вообще — отсюда непременно надо уехать (на время, на время; «насовсем» — это другая история, и мы сейчас не об этом). Видишь Москву — и сразу думаешь: уехать, уехать, уехать... Реальные поездки обыкновенно оказываются и беднее, и труднее домыслов о них. Во всяком случае, они как таковые, сами по себе всего лишь дают нам материал, сырьё для будущих событий — которыми

станут после известного внутреннего вызревания, внутренней обработки. А здешняя, так называемая повседневная жизнь — событие сама по себе.

О полноте времён

Хотелось бы мне жить — не в настоящем, не в прошлом (к чему отродясь была расположена; уже из дошкольных лет помню тоску по прошлому, даже по такому, которое ещё пока настоящее, но вот-вот станет прошлым), не в будущем, которое в основном склонна населять всякими ужасами (спешу сказать, что пока ни один не оправдался, так что все эти ожидания — суверенная душевная реальность и не более того) — но в полноте времён. Жить во всём сразу: в огромном, прозрачном со всех сторон, просвечивающем настоящем, в котором находится место никуда не исчезнувшему прошлому (отдельный вопрос — но действительно отдельный — что от прошлого надо бы уметь ещё и освободиться), которое открыто всем возможным будущим. Я его представляю себе как цветной прозрачный шар. Иногда — не так уж редко; сейчас куда чаще, чем в начале жизни — это получается, и моменты, в которые получается, безусловно должны быть отнесены к состояниям счастья.

О реальности

Может быть, самое интересное в так называемой реальности — то, что её можно домысливать. То, что она допускает преизрядную множественность интерпретаций и оказывается, в конечном счёте, не чем иным, как поводом и материалом для внутренней жизни: где она только и получает свои так называемые значения. «Реальность» интересна тем больше, чем больше толкований и домысливаний она провоцирует. Без толкований и домысливаний она, если угодно, мертва. Она «создана» для них. Она интересна как гигантская, множественная, непредсказуемая Возможность.

О любви и точности

Одно из главных имён любви (и, наверное, тайных её имён, потому что обычно она так себя не называет) — точность. Она — интенсивная реакция всего нашего существа на что-то такое в Другом, что единственно точным образом совпадает — о нет, не с ожиданиями (совпадение с ожиданиями само по себе может никакой любви и не вызвать) — с чем-то более глубоким, более неотменимым. Не знаю сию секунду, с чем именно, но предположить могу: с нашей собственной внутренней формой — может быть, ещё не выявленной. Любовь — изумлённое узнавание нами в себе того, чего мы до сих пор по разным причинам не видели вполне. О, конечно, она — смысловая работа (этим и отличается от, допустим, страсти, которая скорее не прозрение, а слепота и зашоренность — хотя я-то на самом деле разделений бы тут не проводила: они прекрасно уживаются друг с другом и переходят друг в друга; от чисто сексуального влечения, в котором как в таковом, кажется, нет никаких смысловых компонентов; от влюблённости, которая более поверхностна...), она душу переделывает, переустанавливает наши отношения с миром (именно с миром: тут мир всегда включён, этим она тоже отличается — меняет вкус, цвет, запах мира, модус и градус его переживания. Вспоминая какую-то из своих любовей, мы непременно вспоминаем вместе с нею состояние мира вокруг себя, причём динамическое), она претендует — и с полным правом — на то, чтобы быть биографическим проектом.

Из навязчивого

Виноватый = больной (и сам себе это устроил): нарушение целостности и гомеостаза с собой и с миром; всё его существо поражено.

Подобно болезни, затрагивающей весь организм целиком, вина поражает всё наше существо: мы все целиком начинаем существовать в модусе виноватости.

Оказавшись виноватой, не думаю даже, а чувствую: что ж это люди не шарахаются от меня, как от зачумлённой? Вина, слава богу, не заразна, но противно-то хоть должно быть?

Есть люди, менее и более предрасположенные быть виноватыми — я из вторых. Отличительные признаки этих последних: они менее осторожны и менее внимательны.

И: должна быть культура работы с виной. Раз уж такое несчастие случилось, надо уметь сделать — в той мере, в какой речь идёт о собственной душе виноватого — по меньшей мере две вещи:

= извлечь из вины конструктивные смыслы и —

= не пускать вину в себя далее определённой глубины: воспрепятствовать её разрушительному действию на нас — памятуя, что мы ответственны за себя как за целое, за состояние этого целого, а вина — как ни будь глобальна — всего лишь один из наших частных случаев, всего лишь одна из наших возможностей. Она и так поражает всё наше существо: нельзя помогать ей в этом. Надо этому противостоять. (Модифицируя — неизбежно — всё остальное в нас, она не должна его вытеснить и подменять собой.)

Ни с какой бедой нельзя сотрудничать, помогая ей нас разрушать, а вина — это тоже беда.

Виной надо не только переболеть — от неё надо уметь лечиться.

Есть такая вещь, как этическое здоровье. Вот его надо уметь в себе поддерживать.

Нет, есть ещё третье. От вины необходимо чувствовать боль. От этой боли надо не только защищаться, но и не защищаться.

Чтобы эта боль и память о ней не давали нам утратить чувство того, что вина — зло, что нельзя совершать действия, в результате которых мы оказываемся виноватыми.

Иногда (часто) мне кажется, будто мы (ну, ладно, ладно — я) посланы в мир, чтобы оберегать всех и каждого, с кем жизнь сводит (задача немного нечеловеческая, но, согласитесь, в состав человеческой сущности входит нечто нечеловеческое). Особенно это касается того, кто оказался со мной тесно связан. Моя задача — быть стражем, насколько возможно, их безопасности без посягательств (что самое сложное) на их свободу. Говорю же, в этом есть нечто нечеловеческое.

(Есть люди-«будоражители» [по отношению к другим]. Я — «оберегатель». Не потому, что я такая добрая [была бы добрая — легче было бы], а потому, что это для меня — ценность, и потому ещё, что, при всех трудностях этой позиции, я чувствую её органичной для себя.)

(Я не готова ответить на вопрос «зачем»; мне даже не кажется нужным в данном случае отвечать на такие глобальные вопросы и даже ставить их. В данном случае достаточно того, что я так чувствую: это моя форма, которую я естественно принимаю — так кисть руки складывается по определённым линиям.)

Кстати, это «оберегатель» означает исключительно тип межчеловеческих отношений и не означает ни одного из консерватизмов: ни политического, ни, допустим, эстетического.

Об экологии себя

«Экология себя» — это совокупность принципов сознательного устройства себя, распределения внутренних равновесий и движений — предшествующая даже этике — как её возможность: это своего рода управляемая душевная физика. Для занятия

этически значимых позиций всё-таки должно быть подготовлено душевное пространство.

То, что приводит душу в порядок

Редактирование чужих текстов.

Поскольку душа почему-то очень склонна к хаотизации (должно быть, чувствуя своё родство ничуть не менее с Первородным Хаосом, чем с требующим известных усилий Космосом), приходится постоянно изобретать — или подбирать, где обнаруживаются, и адаптировать — техники, выволакивающие её из этого состояния. Как же не радоваться, когда такие техники попросту вменяются нам в обязанность!

А вот интересно, что писание собственных текстов — особенно сколько-нибудь сложных — «космизирует» эту самую душу лишь на заключительных стадиях процесса. Вначале, напротив, исключительно благоприятен хаос — полный неожиданностей, часто неприятный, зато много чего из себя порождающий — исключительно в силу собственной внутренней динамики. (Иной раз, соответственно, бывает неплохо его себе и создать: размешать стоячие воды души каким-нибудь инструментом.) «Космизированное», упорядоченное, ясное состояние вначале даже сковывает.

К сезонным смыслам

Дышать октябрём — из категории потребностей. Октябрьский воздух, запах октябрьских листьев — одно из самых сильных и внятных воплощений счастья. Счастья не как эйфории, а как полноты и точности. Вдыхание холодного октябрьского воздуха — особенно если притом ещё медленно, не торопясь, идти пешком по улицам — в числе самых верных способов «правильной» настройки, «уточнения» всего существа — и тела и души вместе.

Запахи осени составляют ольфакторную карту обширной смысловой области, а то, пожалуй, даже и не одной (нет, всё-таки одной: она цельная). У запахов сентября, октября и ноября в их разных стадиях — разные значения, разные «сообщения» нам. Это — запахи смирения и надежды, ясности и честности, утраты (лето прошло, год уходит, жизнь проходит) и начала (психологически год всегда начинается для меня осенью — неистребимое наследство ученических и студенческих лет: именно сентябрь, а никакой не январь пахнет началом новой жизни, возможностью того — и потребностью в том, — чтобы «всё» писать с чистого, аккуратного листа); запахи собирания всего существа в строгий порядок. Один из самых пронзительных, самых уверенных запахов надежды — запах холодного ноябрьского воздуха перед самым снегом. Почему-то запахи осени — больше, чем других времён года — затрагивают самый «экзистенциальный корень» человека, почему-то восприимчивость к ним, взволнованность ими не делается с годами менее острой. Уж не наоборот ли?

Биодицея

Оправдание жизни, оно же *биодицея* — одно из основных направлений моего сознательного внутреннего движения — относится к числу сразу и интересов, и потребностей. Это — потребность в занятии некоторой терапевтической позиции по отношению к жизни — и своей и вообще: излечения её, доступными для меня средствами, от бессмыслия (смысл — это жизнь жизни, сердцевина её) — выискивание в доступной и подвластной мне жизни такой сердцевины или создание её. Эта потребность сопутствует во мне (существо, одержимом, вообще говоря, разнообразным набором фобий) чувству хрупкости, обречённости и драгоценности жизни. Бессмыслие сродни проклятию. Хочется спастись от этого — высокопарно говоря — всё сущее, а говоря чуть более реалистично — всё, чего касаются мои руки в прямом и переносном смысле.

То, что вызывает чувственный трепет

Толстые блокноты форматом «в ладонь».

Они — из числа тех предметов, которые обладают исключительным уточняющим, концентрирующим воздействием на человека (особенно, понятное дело, если этот человек — я). Они улавливают душу, не позволяя ей слишком уж — теряя себя — разлетаться, задают ей некоторый телесный — успокаивающий — образец, по которому она может себя укладывать, разбираясь в себе и во всём том, что нахватала, летаючи по свету. Тут важен именно «ладонный» формат: он хорошо концентрирует, позволяет прямо физически почувствовать пригнанность слов друг к другу — слова осязают в нём друг друга, чувствуют себя частью единого рельефа.

О недодумываемом

Есть, кажется, нечто насильственное (искажающее естество; мешающее ему быть; недоверие к нему — разновидность слепоты) в том, чтобы каждую мысль, после того, как она нам явилась, додумывать, дотягивать непременно «до конца», до всех, в пределе, возможных логических следствий. В таком занятии есть и что-то очень привлекательное: выпрессовать из мыслительного явления всё, что только можно из него извлечь, обглодать ему все косточки, не дать ничему пропасть. Так вот, видится мне нечто привлекательное и в доверии к мысли — именно в её ещё-не-дожитости, недодуманности: не надо бы тянуть растение за верхушку вон из грядки, надо бы иной раз (я бы даже довольно часто это делала) оставить мысль в нас так, как она есть, живой заготовкой, семенем, и посмотреть, что с ней — и с нами — будет происходить в соответствии с той логикой, которая нам, весьма возможно, ещё не известна, а может быть, и не будет известна никогда.

Значительность незначительного — в теснейшем родстве с оправданием жизни и осмысленностью мелочей. Это — интерес / потребность / ценность, смысл которого — усмотреть в так называемом незначительном осколки, отсветы смысла, указания на него. Всякая вещь — хочется думать и чувствовать — причастна смыслу уже тем, что существует. Смысл «вдыхает» существование в неё.

Книга — кусок свободы и бесконечной — пока книга не кончится — перспективы, которую носишь с собой; усиливающая приставка к существованию и к собственному душевно-телесному организму.

Наука возвращенья

Осень — возвращение: даже тогда, когда никуда не уезжаешь. Лето — исступление из собственных границ, истончение их, опрозрачивание, почти-исчезновение: душа растекается по всему чувственному космосу, жадно ощупывая каждый его предмет. Лето — чтобы набраться внешнего на всю долгую-долгую зиму.

А осенью мы просто возвращаемся в собственные границы, уточняем их — и начинаем обживать заново, — после летних *extasis'ов*. Необыкновенно уютное занятие — готовиться к зиме.

Чтобы потом, в тишине зимы, раскладывать набранное по внутренним полкам. Тихо-тихо и внимательно выращивать его смыслы — неожиданные, как и положено быть смыслом. Они должны нас врасплох заставить, даже являясь к нам изнутри.

О, возвращение — полноценная смысловая работа.

Слово о сочувствии и благодати

А ведь зацитированное «...нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать» относится и к нашему собственному сочувствию другим, способности адекватно воспринимать другого, готовности и желанию двигаться ему навстречу. Оно даётся нам,

как дар — в смысле способности, как музыкальный, например, слух (универсальная метафора): подобно слуху, который позволяет нам воспринимать музыку, в нас способен возникнуть «слух», рассчитанный только на этого вот, в своей единичности взятого человека: восприимчивость, чуткость к нему. С исчезновением человека из нашей жизни обречена исчезнуть и эта, единственно ему предназначенная, чуткость: для восприятия других людей должны возникать — и затем, возникнув, воспитываться — другие чуткости, им по размеру. В каком-то последнем, самом глубоком смысле её не создашь усилием, как не создашь в себе того же музыкального слуха, но коли уж она, хоть небольшая, возникла — её уже можно воспитывать, и, вероятно, при старании и умении — вплоть до весьма развёрнутых следствий (хоть до чтения мыслей на расстоянии и смотра снов).

Оглядываясь на собственный опыт, обнаруживаю, что такие чуткости к конкретным-единственным Другим у меня в жизни были (и суть) единичны; каждая — едва ли не исключение. И это при общей довольно неплохой восприимчивости. Из чего делаю вывод, что сочувствие этого рода — дар совсем отдельный, своей особой природы. Ничто его не создаст: ни опыт, ни «знание людей», ни психологическая грамотность — ничто.

Наедине с собой человек, может быть, менее всего один: именно потому, что внутренние голоса лучше слышны, причём как раз те, которые хочется слышать.

«Свои» — те, в чьём присутствии (помимо прочего) сохраняется вся полнота внутренних голосов и внутренних присутствий.

Подозреваю, что критерии «своего» и «не-своего» человек изобретает / конструирует задним числом. На самом же деле «своё» и «не-своё» определяется и формируется примерно так же, как в отношениях с художественной литературой: либо «втягивает», либо «не втягивает». То же, вполне себе априорное, втягивание / невтягивание определяет отношения — задавая им первоначальную траекторию — с людьми, с городами, странами,

культурами, вообще со всякими смысловыми и чувственными комплексами. А критерии последующего отбора и последующих оценок возникают в результате осознания (запросто может быть, что и совершенно неадекватного!) траекторий «втягивания», попытки их себе объяснить.

Отдельный вопрос, большой и трудный, — как поступать с «чужим» — с тем, что как таковое чувствуется; как вести себя по отношению к нему; что делать с собой перед его лицом. Понимаю, что такие вопросы лучше всего решать всякий раз конкретно на конкретном материале. Но хочется определить какие-то общие принципы (хотя бы уже потому, что, когда повинешься одному лишь непосредственному чувству ситуации, много иной раз дров наламываешь — и обломки этих дров больно впиваются в бока, да и не только в твои собственные).

Как быть с необходимостью «настраиваться» на тех, от кого хочется, чувствуется нужным защищаться? Когда процесс «настройки» начинает идти прямо-таки поперёк душевных волокон и причинять едва ли не физическую боль? Более всего занимают меня взаимоотношения этой «настройки» (безусловно принадлежащей к числу ценностей: почувствовать другого, понять его мотивы, да желательно ещё и сочувственно) с защитой собственной душевной экологии. А взаимоотношения у них явно неоднозначные.

Как быть в случаях, если есть желание НЕ сближаться — особенно когда ждут от нас именно этого? В какой мере допустимо ломать собственное естество — или то, что нам чувствуется таковым?

Человек-то, конечно — в пределе, в задании, в замысле — может быть «адекватным целой вселенной». Отдельный вопрос, как это решается, должно или может решаться на материале собственной единственной жизни. Принимать в себя всё, даже то, что чувствуется чужим и чуждым? (Что-то в этом мнится мне нечеловеческое...) Как быть со своими границами: делать вид, что их нет; пересекать, несмотря на собственное внутреннее сопротивление; не верить и не поддаваться тому «нет», которое

упрямо твердит нам наше внутреннее чувство? Всегда ли, непременно ли желание защищать то, что представляется нам нашими границами и нашей внутренней экологией — тупиково, слепо и в конечном счёте губительно? Как отделить случаи, когда оно действительно таково, от тех, когда — нет?

«И тай...»

Чем важное важнее, тем важнее о нём молчать: не давать ему внешнего звука. (Писать можно, то есть самой себе, конечно: это разновидность молчания. Артикулированное молчание.) Если я скажу о том, что важно (неважно кому: степень доверия к собеседнику и близости с ним не имеет при этом ни малейшего значения) — нарушится интенсивность и глубина моих собственных отношений с ним, качество его переживания, качество исполнения (если это — цель) и приложенных к этому исполнению усилий. То есть важное можно, конечно, обсуждать, но только в определённой — и достаточно «продвинутой» — стадии его созревания, когда оно уже хоть немного да отделилось от меня. Пока ещё не отделилось, образует часть меня, и между ним и мной нельзя провести границы — надо дать ему созреть в молчании.

О вседневности

Каждая прочитанная книга — совершенно независимо от того, в какой мере мы согласны с тем, что там написано, насколько взволновал нас её предмет, насколько это вообще нам интересно и близко — становится нашей записной книжкой: слепком с того времени нашей жизни, когда мы её читали, с того состояния, в котором читали. На неё — вполне невольно и во многом незаметно — липнут наши личные смыслы. Она «улавливает» нас, закрепляет нас в себе. Поэтому перечитывание неминуемо становится перечитыванием самого себя.

Но точно то же относится и, например, к пережитым странностям. Города, в которых мы жили, едва ли возможно не

читать — улица за улицей — как пристрастное, с преувеличениями и домысливаниями, повествование о нас самих. Всё становится нашим дневником уже в силу того простого обстоятельства, что мы в этом были.

Изумляет вообще способность человека всё обживать, всё превращать в своё собственное иносказание. Механизмы этого обживания и превращения работают столь безотказно, что в пору бы, казалось, уже изобретать техники (или они уже изобретены? Не удивлюсь, если — да), позволяющие человеку освобождаться при восприятии вещей и явлений мира от неизбежно липнущих к ним личных смыслов.

Ясность-вопреки

Всегда мнилось, да и теперь не перестало, будто красивые люди точнее — а следовательно, и полнее — воспринимают мир: будто само тело так настраивает их восприятие. Будто красота их ведёт, направляет; подсказывает им — сама — чаемую правильность действий. Будто красота — явление ещё и гносеологическое, и этическое. Не факт, то есть, что они «добрее» (отдельная категория, требующая отдельных и рассуждений), но они — упорно чувствуется — яснее, «правильнее» и легче. Красивое тело, думалось и думается, — более адекватное чувствительное смысла, понятого как мировая гармония, согласованность разных частей мира.

И мнится ещё, будто «мы, некрасивые» обречены на внутреннее косноязычие, которое должны — если вообще чего-то хотим — постоянно преодолевать внутренним усилием. Всё время вытягивать себя из хаоса, частью которого являемся (а красивые, знамо дело — частью космоса).

Коротко, формулой: «Некрасивость — вызов к усилию». Только не (обязательно) к тому, которым дотягиваешь собственную незадавшуюся внешность до некоторого «стандарта», но к усилию выпрямления собственных внутренних путей и движений, к ясности-вопреки.

О природе смысла

Смысл — это структура и форма. Не то, «ради» чего всё происходит, самоценным не будучи, но то, что держит происходящее, не давая ему распасться, соединяет и согласовывает разные его части.

* * *

Тоскую по правильно настраивающим запахам. Прежде всего, пожалуй, — по запаху моря. Очень давно не чувствовала его; почти уже забыла, как это бывает. Одно помню наверняка: что бывает хорошо и сильно. Вообще есть что-то очень глубокое в человеке, что отзывается на запах моря с первобытной силой и благодарностью. Это запах силы, свободы, безграничности; может быть, самый убедительный из запахов того, что человек не сводится ни к будням, ни вообще к какому-либо из своих актуальных состояний... ни вообще даже, может быть, к тому, что он — человек. Он — из числа запахов, широко раскрывающих нас. Мне даже вида моря так не хочется, даже и плавать в нём — не слишком, — но хочется вдыхать его воздух, нюхать, щупать ноздрями, почувствовать кожей ветер, полный морским воздухом.

* * *

Ведь что делает человек, странствуя? — Расширяет, растягивает границы своего «я» — знамо дело, воображаемые: как знать, где они на самом-то деле проходят? Понятно, что всё главное (да и неглавное) всегда с тобой, а перемещаясь с места на место, всего лишь уточняешь это. В разных местах, да, это главное переживается по-разному — под разными углами, с разной остротой и глубиной. И более того: подозреваю, что в «своём» пространстве — не в том, естественно, где мы волею судеб родились, но где более всего прожито — вот в таком-то подробно прочувствованном пространстве главное переживается глубже всего. Как ни странно.

Чужие пространства не выявляют в нас искомого главного именно в силу своей недопрочувствованности нами. Они всегда —

только грубая заготовка наших возможных чувств. Такую годами надо шлифовать. — Похоже на то, что человек всюду «таскает» за собой свой «центр» (то самое «главное»), свою «константу» или сросшуюся в некое целое плотную совокупность констант. А границы — определяемые из этого центра — всегда более-менее размыты, непостоянны. С ними — в отличие от центра — возможен довольно широкий, думаю я, спектр манипуляций. И ещё: точно знать их трудно, но вот воображать — сколько угодно.

И вот ездит человек по пространствам и мнит, что включает их в себя — уже тем одним, что видит, а уж тем более если обоняет-осязает, физически в них присутствует — и тем самым вроде бы в них участвует. Символическим присвоением занимается: и то, мол, я, и это — тоже я... и таким образом, «меня» — всё больше и больше.

Это ведь и мой типовой ответ на типовые же вопросы о том, чего мне хотелось бы в подарок на день рождения и почему именно этого. Говорю, что не нужно мне никаких предметов, которые бы стояли и пыль собирали — и которые, в конце концов, всегда могут быть утрачены, — а нужно мне непременно куда-нибудь поехать: увиденного и пережитого у нас не отобрать, потому что оно становится частью нас самих. В подарок уж если что и получать, то лучше всего мыслимого — другие возможности быть собой. Это единственно нужное и интересное. «Я» — вообще возможность, а не константа. Все константы — побочные продукты, донные отложения. Это относится даже, может быть, к самым-самым важным константам: они задают форму «Я»-возможности.

Всякое перемещение в пространстве — спор со своей ограниченностью во времени — со своей смертностью, отказ смириться с ней. (Собственно, к чтению книг относится совершенно то же самое; только с пространствами это в некотором смысле полнее — в силу того, что здесь есть чувственное включение.)

Понятно, что «перемещение в пространстве» — средство (точнее, способно быть средством) создания (моделирования, настройки) человеком самого себя. Тут хорошо бы, правда, иметь достаточно

чёткое представление о целях, в свете которых определяется и выбор инструментов, и характер их использования.

(Без этого поглощение чужих пространств — и чего угодно, хоть самых умных и достойных книг — свелось бы к чистому потребительству: к поглощению без отдачи, без осмысленных результатов, без преобразования.)

Чего, почему и для чего мы от себя хотим, что мы хотим из себя сделать? В свете этого должны бы формулироваться и наши маршруты, подобно нашим чтениям. Иначе получается вслепую. Топтание на некотором — да и непрояснённом — месте.

(А они — причём как маршруты, так и чтения, разве что первые, в силу традиционно менее высокой отрефлексированности, чаще, формируются, повинувшись в основном случайностям и физиологическим по сути потребностям, которые, по существу, та же случайность [у души своя физиология, которая не перестаёт быть физиологией от того, что она душевная]: походить, подышать, вдохнуть запахи; сбросить напряжение или, наоборот, набрать его; пожить в других ритмах... Всё это — славно, но — не только по горизонтали, а, по существу, и на месте. Настоящего движения в этом нет.)

(В сторону, на полях: может быть, ясное осознание — одна из непрременных задач человека. Бодрствование в бытии: осознание всего происходящего с нами до некоторого возможного предела — включая, разумеется, и осознание того, что осознать это исчерпывающе и до конца никогда невозможно.)

Вот: человек — существо самосоздающее. (Наверное, даже не в сознании как таковом отличие его от прочих тварей — какими-то элементами самосознания явно обладают и животные, а в принципиальном, постоянном, «образующем» несовпадении с самим собой; в никогда-полностью-не-осуществляемой возможности; в динамичности — в пребывании постоянно в промежутке между собой и собой: между собой-исходным и собой-целью.) Существо потому только и проектирующее что бы то ни было, что — самопроектирующее (все проекты — инструменты этого, одного-единственного проекта).

Причём инструментом для самосоздания способно послужить буквально всё, что угодно. То есть, это даже не вопрос. Вопрос в целях.

Всякий раз, думая в этом направлении, нахожу себя перед необходимостью религиозных выводов, к которым меня буквально выталкивает. И всякий раз останавливаюсь.

О ценностях

Нет никаких «своих» ценностей, ориентиров, целей (соответственно — и проектов, планов как их комбинаций): мы в любом случае их заимствуем из уже готового набора, предлагаемого социумом. Нет «родных», «природных» ценностей — только «усыновлённые» (скорее уж «усыновившие» — учитывая, что они — все — и старше, и больше нас). Любая ценность — хоть немного да чужая, хоть немного да безразличная к нам в нашей драгоценной-единственной (как хочется думать) эмпирике, любая — требовательна, любая — давит, с любой мы никогда вполне не совпадаем и не совпадём, нечего и надеяться, они так и задуманы. Каждый человек — «доценностное» существо и обречён «мучить себя по чужому подобию». — Всё, что мы тут хоть сколько-то можем — это отчасти выбирать себе некоторые ценности по соответствию, по душевной склонности. Но и те останутся недостижимыми, требовательными, жёсткими. Чужими.

...С другой стороны, нет ведь (в пределе) и ничего чужого — в области внутренних событий во всяком случае. Нет, например, «чужих» чувств: как только «я» это чужое почувствовал, пережил, пусть даже просто воспринял — оно уже «моё», поскольку — факт моей жизни и начнёт теперь, будучи всего раз воспринятым, прорастать в меня, в том числе — как это свойственно настоящему — незаметно для меня и независимо от моей воли.

Человек пронцаем. Отчуждённость — конструкт, она достигается усилием.

(Отдельный вопрос, что — если уж она достигнута — её потом усилием же приходится и разрушать / ослаблять.)

Граница между «чужим» (неприсвоенным-необжитым-непрочувствованным) и «своим» (присвоенным-обжитым-прочувствованным) — настолько проницаема, что её почти нет. Почти, потому что всё-таки есть кое-что, отделяющее «чужое» от «своего»: это — присваивающее, «прочувствующее» — усилие. Акт внутреннего усилия — а не что-то ещё — отделяет эти две области вообще-то цельного бытия друг от друга.

Отдельный вопрос — то, что такое усилие может быть и очень большим, и очень протяжённым во времени, и вообще не достигать результата.

(«Чужое» и «своё» — не «имманентное» качество вещей, даже не совокупность их, располагающих к такому их восприятию, характеристик — но исключительно наша внутренняя «диспозиция» по отношению к ним — наша собственная внутренняя форма.)

Репетиция небытия

Жара воздействует слишком уж комплексно: отупляет если бы только ум, а то ведь ещё и душу с телом — не только думать, но и чувствовать не хочется. Я уж не говорю о том, что ничего не хочется делать. Жара предоставляет нам шанс взглянуть на все наши дела, которые нас так занимают, как на, в сущности, не такие уж важные. Мы смотрим на них в жару хоть немного да извне, со стороны, причём с незаинтересованной стороны. Жара, как мало что другое, даёт прочувствовать суетную сторону едва ли не всех вещей, их глубокую необязательность.

В этом смысле она освобождает — но, я бы сказала, её освобождающее действие вполне сопоставимо с освобождающим действием смерти.

Жара погружает человека в небытие, даёт ему — уникальный, если вдуматься — опыт небытия при жизни. (И — что ценно — вполне себе осознанного небытия, в отличие от какой-нибудь комы.)

Конечно, она — как всякий экстрим — пододвигает нас хоть немного ближе к границам человеческого бытия — к границам

человеческого вообще. — Со спадением жары мы возвращаемся в «срединные» области человеческого, которые кажутся нам «естественными», «нормальными», а на самом деле они — маленький островок исключений в Океане Нечеловеческого.

Литература самоописания и производство дистанций

В истории европейской словесности, как известно, периодически случаются этапы расцвета «литературы самоописания» — такие культурные состояния, когда это занятие и его результаты почему-то чувствуются жутко интересными. Так, например, в эпоху господства над европейскими умами ценностей сентиментализма и романтизма «дневники, письма, путевые заметки, записки пишут чуть ли не все поголовно» (*Савкина И.* Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. — М.: НЛО, 2007. — С. 17).

Сейчас, в эпоху разного рода сетевых дневников, мы, кажется, переживаем нечто очень похожее, если не более того: в ведение интернет-дневников втягиваются, кажется, даже и те, кто не очень склонен к письменной рефлексии на бумаге (скажем, в целях общения) — хотя бы, например, потому, что это в некотором смысле требует меньше чисто физических усилий, чем бумажная рефлексия: и пишется быстрее, и стирается легко и без следа. Барьер между человеком и письмом становится, таким образом, гораздо более преодолемым, что влечёт за собой невиданное увеличение объёма «я-дискурса» в современной культуре. В связи с этим меня занимает вопрос: как влияет нынешний блог-бум — просачивание блоговедения в самую прямо-таки сердцевину культурного естества — на современную литературу? Ведь наверняка же как-то влияет¹.

¹ Напоминаю терпеливому читателю, что писано это было в августе 2007 года. С тех пор влияние блогписи на современную словесность, должно быть, уже многократно осмыслено; во всяком случае, сам вопрос уже до того

Но это ещё не всё. Занимает меня, кроме того, как этот, вполне себе рутинизированный уже, процесс публичной рефлексии (любое самописание — рефлексия) влияет на характер самовосприятия современного человека. Наверняка оно тоже подвергается каким-то трансформациям. Хотя бы уже потому, что любой дневник — это постоянное производство дистанций между собой и проживаемым, независимо от того, к кому — к себе или к другим — мы при этом адресуемся: дистанция выстраивается уже самим актом письма, фиксации прожитого в знаках; выбором лексики для его описания, наконец.

Кроме того, массовая блогосфера должна бы способствовать обострению чувства ценности повседневно проживаемого: то, что «порождает текст», что попадает в фокус словесно выраженного внимания — тем самым обретает некоторую ценность.

Само собой, и то и другое можно будет по-настоящему оценить не иначе как по прошествии некоторого времени, когда нынешнее культурное состояние хоть в какой-то мере станет прошлым и обретёт черты завершённости. Но вопросами-то можно задаваться уже сейчас.

Mythologia personalis

Есть персональные мифы: неразрушимо-устойчивые, повторяющиеся, любой жизненный материал подчиняющие себе сюжеты, в которых мы живём (без малейшей потребности в том, чтобы высказывать их кому-то ещё, даже наоборот — стараясь не высказывать: это важное условие их полноценного функционирования в качестве мифов — движущих, животворящих, смыслопритягивающих и формообразующих). Совсем не думаю притом, что от них стоит так или иначе «освобождаться» (путём, скажем, их чёткой формулировки и критического анализа. Не говоря уже о том, что, если они настоящие мифы, никакой «критический

не внове, что и задаваться-то им стыдно. Но содержательные ответы на него было бы интересно почитать.

анализ» им не страшен: они точно так же подчинят его себе, как и всё остальное). Вообще кажется, чем дальше, тем более скептически отношусь к разного рода проектам «демифологизации» реальности (столь воодушевлявшим меня в молодости). Всё больше чувствуется, что «демифологизировать» что бы то ни было — значит отчасти, а то и вовсе убить его; лишить его — или наше отношение к нему — движущих сил (по счастью, это на самом деле невозможно. На смену всякому «искоренённому» мифу — если он вообще искореняется — немедленно приходит другой). Но вот осознать их в себе, прояснить, проследить их траектории было бы, кажется, очень полезно. В сотрудничестве с осознанием они способны быть, думается, весьма продуктивны.

К изготовлению смысла

Замечено: мысль (не стану утверждать, что всегда, но несомненно часто) возникает совсем не из чёткого видения её предмета (оно — скорее уж результат), но из некоторого — и не в голове возникающего! — внутреннего движения, с весьма размытыми краями, в ходе которого, повинувшись которому, мы обретаем некоторую форму, делающую мысль возможной. Всякая работа по прояснению и развитию, всякие усилия вообще возможны лишь после того, как такое движение состоялось — и я сомневаюсь, возможно ли вызвать его усилием. Хотя, пожалуй, в какой-то степени всё-таки можно.

Я это к чему: истоки мысли отнюдь не рациональны. Рациональность вторична. Причём глубоко вторична.

А ещё мысль является в виде совокупности цветных пятен.

Вообще, в рождении мысли — и в «самопроизвольном» его компоненте, и в тех усилиях, которые к этому рождению оказывается необходимо прикладывать — есть что-то очень родственное усилию припоминания. Мы находим мысль не впереди себя — чтобы к ней тянуться, но внутри себя, как бы уже в прошлом: её «просто» надо прояснить, вытянуть из того хаоса, которым она успела — почти до слияния с ним — затянуться.

Действительно, впору подумать, что мы в каком-то смысле уже «всё» знаем — и только проясняем это в себе. Или — чаще — так и оставляем непрояснённым.

Оправдание беспорядка

А ведь беспорядок в доме может быть для человека свидетельством неформальных отношений с этим пространством, того, что здесь он может не церемониться и чувствовать себя за-просто. Разбросанность и наваленность вещей (при виде которой у меня сама собой тянется рука всё немедленно разложить по полочкам, но то от внутренней тревожности, от оторопи перед хаосом) может иметь функцию снятия напряжения, ослабления дисциплины, одомашнивания пространства. Для меня, например, всякое пространство автоматически становится хоть немного домом, если я разложу тамошные предметы по некоторому порядку или хоть пыль протру (это — наилучший способ уговорить его — и себя — не дичиться), и всякое же — автоматически же — хоть немного чужим, если в нём беспорядок — то есть, такой порядок, который мною не обозрим и мною не контролируем. Когда обозрим и контролируем — тогда уже порядок.

Собственно, наведение порядка в пространстве и частичная его хаотизация — это две разные — и наверняка равноценные по большому счёту — стратегии его одомашнивания. Они, скорее всего, соответствуют если не разным человеческим типам, то, во всяком случае, разным типам отношения человека с миром и самим собой. Но обобщения делать пока не возьмусь.

Об истоках консерватизма

После определённого количества утрат и неудач (вероятно, этот объём для каждого свой) начинаешь если и не понимать, то чувствовать, что любая устойчивость, любая норма, любой ритуал повседневности — на самом деле исключения, зыбкие

островки человечности в океане (равнодушного к нам) хаоса, — и, как таковые, нуждаются в оберегании.

Вот ещё что, пожалуй, главное: чувство того, что жизнь чудесна (одновременно — и хрупка, и обречена, и невосстановима в каждом уходящем миге) всегда: всегда, а не только в те экзотические мгновения, которые так ценились в молодости.

В молодости вообще любая устойчивость, не говоря уже о ритуалах повседневности, вызывала отчаянный протест: хотелось всегда существовать, как в первый раз, напролом, нарушая любые правила уже за то, что они — правила, на свой страх и риск. Хотелось незащищённости — даже при том, что она действительно была: казалось, что незащищённость — условие зрячести, восприимчивости (хотя она прекрасно способна быть и формой, и причиной слепоты и глухоты).

На самом деле стоило бы сохранять в себе оба этих взгляда: ибо оправданны оба.

К этике жары

Жара приучает к терпению. Это — время, когда собственное, более-менее обжитое тело становится неудобным: учит жить «вопреки» этому неудобству, «в обход» его — внимательнее и точнее разделять тело и управляющую им душу. На эту последнюю в жару ложится повышенная контролирующая нагрузка: приходится быть внимательной и к тому, что в прочее время делается автоматически. Жара — зона нарушения автоматизмов и повышения внимания. Она — область усилий.

Мы вынуждены пробиваться к самим себе и к тем задачам, которых, несмотря ни на какую жару, не отменить — сквозь толщу жары.

Пространство болеет жарой, у него повышается температура. Это надо просто перетерпеть, как всякую болезнь.

С похолоданием мы возвращаемся к тонко-дифференцированной, объёмной сложности. Возвращаемся к себе (жара превращает нас в нечто безлично-обобщённое). Просыпаемся

и начинаем бодрствовать (жара погружает в спячку). Вообще — начинаем жить (жара — область воздержания от жизни. Род аскезы).

О перечитывании пространств: праздник прощания

Если лето — пора освоения новых пространств, то осень — самое время для перечитывания старых: медленного, смакующего, по буквам, — с целью, как и положено, проверки старых смыслов — и своих, и пространства, — выявления новых и испытания их на прочность. Старые пространства хорошо срабатывают как универсальные мерки изменчивой жизни. Октябрь — начало совсем уж интенсивного движения внутрь, и тогда уже можно спокойно заниматься внутренним — и прощаться с внешним до весны.

В предвкушении прохладного, ясного сентября составляешь внутри себя список московских пространств, которые стоило бы пересмотреть перед погружением в зиму. С которыми стоило бы поговорить в ритме пешего хода о прошедшем куске жизни. Провести, так сказать, смотр своего символического хозяйства. В этом есть что-то от собирания себя (летом — разбрасываем во все стороны).

По мере наступления осени отпадает (по крайней мере, уходит на далёкую периферию существования, убирается в пронафталиненные шкафы — до весны) всё лишнее (точнее, многое — летом отнюдь лишним не бывшее — становится таковым, меняет свой статус). Наружу выступает костяк вещей, незыблемая основа бытия. Окончательно она выступает в ноябре, ранней осенью до этого ещё далеко. Пока — прекрасный, освобождающий праздник прощания: с летом, с его иллюзиями и надеждами, с летним модусом себя. С ещё одним прожитым годом.

Может быть, основная ценность лета — ну ладно, одна из основных! — в том, что оно кончается. И с ним можно — со сладкой грустью, с освобождающим оплакиванием — проститься.

(Конечно, оно предоставляет нам тут удобную, универсальную модель всего, чего «больше не будет». И мы можем в своё удовольствие — для полноты и объёмности душевной жизни — проживать в связи с его уходом весь положенный набор чувств, только без реальных утрат. Лето — некатастрофическая утрата, что не мешает этой утрате быть грустной, а чувствам — настоящими.)

Упражнение в утрате

С летом прощаться грустно уже хотя бы потому, что с возрастом во всяком прощании появляется вкус чего-то окончательного, непоправимого.

Впрочем, у меня этот привкус был всегда (едва ли не изначально, во всяком случае, с очень раннего возраста меня сопровождало чувство, так сказать, лёгкой катастрофичности бытия), в этом смысле никакой возраст мне ничего не добавляет, разве что подтверждает и уточняет. Впрочем же, добавляет он мне радостно-удивлённо-не-вполне-доверчивой благодарности за всё, что, будучи несомненно и неоспоримо обречённым, тем не менее существует.

Чем очевиднее (рутиннее, я бы сказала) катастрофичность бытия — тем острее, тем исключительнее всякая радость.

Прощание с летом — ежегодное упражнение в утрате. Время, специально изобретённое для того, чтобы давать себе отчёт в не(до)выполненных планах, в не(до)сбывшихся летних ожиданиях. Это такой особенный жанр внутренних действий, свойственный почему-то исключительно последним дням лета. Время для проживания грусти — независимо от наличия реальных стимулов и поводов к ней.

Молодой сентябрь задаёт душе совершенно другой тонус.

Подобно ритуалу, простая смена времён года концентрирует наше внимание на тех или иных сторонах человеческого бытия, поворачивает к нам это бытие разными сторонами, чтобы мы

получше рассмотрели. Подобно ритуалу, смена времён года — форма для человекособирания.

А опыт утрат — совершенно каждодневная на самом деле вещь. Воздух, которым мы дышим, состоит из утрат, мы сами из них состоим.

Ведь и приобретение — даже счастливое! — и то своего рода утрата: сложившихся равновесий, которые оно так или иначе ломает или нарушает.

Но и всякая утрата — своего рода приобретение: потому что всё, что нами утрачено, уже не может быть у нас отнято, оно теперь всегда с нами.

Так всегда теперь будет с нами и лето 2007 года.

Метафизика на ощупь

Чем дальше, тем больше мне кажется, будто в жизни, пережитой «на ощупь», на уровне простых физиологических впечатлений от неё: осязательных, обонятельных, — заключена, свёрнута вся полнота смыслов; что в «физике» уже проговорена, и весьма подробно, едва ли не вся «метафизика». Что каждое воспринятое чувственное впечатление — это услышанное высказывание. Что почувствовать — значит уже в некотором смысле понять, причём куда более глубоко, даже более точно, чем «головой» — а голове (в нашей «головной» культуре) приходится до этого дотягиваться.

Кстати, начинаю замечать в себе — с изумлением, ибо не ждала — простишающее прямо на глазах большее внимание и доверие к художественному слову, чем к абстрактным суждениям и теоретическим конструкциям, которые преданно любила всю первую половину жизни, да и теперь ещё, кажется, не перестала. Эта любовь сказывается и на моих отношениях с художественно воспринятыми деталями: в них волнует не самооценку, а то, что в единственном облике каждой из них просвечивают идеи; даже то, что идеи в некотором смысле могут существовать, лишь будучи воплощёнными — вот так, в конкретных, влажных, шер-

шавых земных вещах. Что в этом самом, ещё далеко не вполне понятном мне самой «некотором смысле» в каждой из таких вещей нет несовершенства и неполноты: любая щербинка, зазубринка на них — воплощение некоторой единственной точности. Что вещь — самостоятельное и прямое свидетельство о бытии (Бытии) и не нуждается в толкованиях: в толкованиях нуждаемся скорее мы сами, приученные переводить свои восприятия на язык «головной» культуры, чтобы эти восприятия стали нам понятнее. Что, то есть, можно — и не в ущерб полноте, скорее напротив — обойтись и без перевода.

Об организованности

Идучи по переходу у метро «Чеховская», думала я о необходимости ритмической организации жизни. Ведь не затем только, не в первую же очередь затем нужна эта самая организованность, чтобы вовремя выполнять какие-то дела и не чувствовать поэтому себя виноватой. Замечательно, конечно, не чувствовать себя виноватой, да только это, сколько бы ни застилало внутренний горизонт — не самое главное. Различие между (интенсивно) организованной и неорганизованной / неявно, слабо организованной жизнью сопоставимо с различием между стихами и прозой. Ведь зачем нужна стиху ритмическая организованность? Затем, например, что она маркирует значимость сообщения, «весомость» высказывания, повышенную соотнесённость происходящего на этом участке речи с Существенным (что бы под этим последним ни понималось). То же — и с организованной жизнью: своими — более, чем у жизни не-организованной, напряжёнными — мускулами она вернее ловит Существенное и надёжнее его удерживает, чем жизнь расхлябанная, разболтанная, с пустотами.

Уж не говорю о том, что любая ритмичность — в жизни ли, в речи или вообще в чём бы то ни было — закликает враждебный человеку хаос. Ритм возводит (защищающий) дом вокруг человека. В нём всегда есть нечто шаманское.

Другой вопрос, что в «пустоты» — зоны, как бы свободные от напряжения организованности и направленности — много чего важного способно входить само собой, неожиданно для нас. Но это уж предмет отдельной рефлексии.

О (не)прямом видении

Думала я также о различиях между «художественным» и «нехудожественным» восприятием жизни: оно — во внутренней оптике. Последнее видит вещи «в лоб», «в упор», стремясь как можно больше сократить дистанцию и выпрямить траекторию между собой и предметом. «Художественное» — то есть то, которое делает возможным и художественное описание мира, хотя, разумеется, не вынуждает к нему — видит вещи «непрямом», «наискосок», смещённо, с дистанцией — чем и создаётся сложное разнообразие событий в поле видения.

По всей вероятности, «художественному» — непрямому — взгляду на мир можно (то есть должно) хоть в какой-то степени научиться. А должно это затем, что без такого модуса восприятие очень неполно. Именно такой взгляд и всё, что даётся им, доразвивает наше восприятие мира до настоящей полноты и объёмности. Без этого — плоско.

Механика возраста

Переход от одного биографического этапа к другому — это, возможно, не что иное, как «переключение гештальта», смена (иной раз моментальная) душевной оптики. И всякий, всякий раз — освоение нового языка. Выстраивание новой системы речи.

Этим-то — новыми глазами да новым языком — мы и отличаемся действительно от себя же в других возрастах, а вовсе не самочувствием (оно не так уж радикально меняется) и не, допустим, навыками (навыки — только следствие).

По-настоящему переход на новый возрастной этап происходит тогда, когда оказывается неожиданным. Когда мы «вдруг» становимся такими, какими сами себя не ожидали.

Новое — оно на то и новое, что его не ждёшь и не представляешь. Если ждёшь и представляешь — это ещё старое, и прежний этап жизни ещё не кончился.

Чем дольше живу, тем больше, однако, ценю неожиданное. Что — опять же неожиданным образом — явно расходится с типовыми представлениями о «возрастном консерватизме».

О простоте и сложности

Мне слишком хорошо знакомо как внутренняя реальность разбухание любой мелочи до размеров даже не ключа к мирозданию — но самого мироздания; взаимопросвечивание в ней одновременно присутствующих значений. Никакая деталь не пуста и не одинока. (Тот самый розановский «фетишизм мелочей», способный быть не только формой слепоты, но и разновидностью зрячести.) Начиная с определённого возраста, мне стало — может быть, и ошибочно — казаться, что это — совершенно общечеловеческое. Такое разрастается под руками у каждого. Просто мы обучены (нормальный культурный навык) пресекать этот рост на определённых — всякий раз, может быть, разных — его стадиях. Хотя бы для понятности — пусть иллюзорной — происходящего для самих себя и для других.

Это всё о сложности восприятия и речи, которая — и та и другая — на самом деле (кажется) изначальны, первичны. Простота возникает на втором шаге как результат усилия — в том числе, проясняющего.

Что же до так называемой простоты, то она, подозреваю, неминуемо искусственна: культурный конструкт, требующий известного насилия над вещами, во всяком случае, над их видением — основанный на отсечении от образа предмета того, что в данном случае принято за «несущественное». Но как знать, что «существенно», а что нет, и что способно оказаться суще-

ственным на следующем шаге? То есть, «простота» всякий раз определяется конкретными, к ситуации привязанными задачами, оказывается производной от них. Оставленная сама на себя, всякая вещь — хоть окуроч, оброненный на тротуаре — неизмеримо сложна и обростаёт во все стороны ветвящимися, бесконечно далеко уходящими связями. Просто всей их полноты нам — не знаю, насколько возможно, но чаще всего попросту не нужно в себя вмещать — вот и упрощаем, выбирая то, что годится для текущих целей.

Об ответственности

Опять начинаются тёплые дни, одни из последних, наверно, в убывающем году — и, кажется, не что-нибудь, а именно ответственность перед ними требует походить в эти дни по улицам, прожить их как можно полнее, прочувствовать их, не дать им пропасть. Они требуют участия. Причём не менее настоятельно, чем лежащая передо мной, важная и довольно срочная работа, которую давно уже пора быстро делать и сдавать, чтобы людей не подводить. Кажется, что по степени соотнесённости с Сущностью Жизни это совершенно одно и то же.

О красноречии

Один из объектов моей сильной зависти, смешанной с сильным же, до робости доходящим (и всегда граничащим со стыдом за свою неполноту) благоговением — хорошо пишущие люди: те, кто особенно подробно и точно чувствует слово и владеет им, вообще-то самовластным, как продолжением самих себя.

За этим стоит, несомненно, чувство метафизической значимости всякого слова. Всякого.

Хороший стиль (оставляя сейчас в стороне трудный и бесконечный спор о том, что следует считать именно «хорошим», не изменчивы ли исторически его критерии. Ясное дело, что из-

менчивы; но примем пока по умолчанию, просто потому, что разговор не о том) — итак, хороший стиль, кажется мне, никогда не пуст, никогда — о чём бы ни шла речь! — не простое упражнение в красноречии.

Всё кажется, будто любые стилистические «завитушки» непременно что-то своими завитками «цепляют»; будто хорошо пишущие люди в особых — более точных, чем мы-все-остальные — отношениях с жизнью, и даже так: с Жизнью, — с истоками жизни, с образующими её силами. Они к ним причастны, даже если не пишут ничего другого, кроме комментариев к собственному повседневному существованию (да где же ещё-то разместиться глубокому и крупному, как не в повседневности!?). И будто всё сильно и точно сказанное — о чём бы ни говорилось — непременно оказывается сказанным о нас самих.

Прыгать надо

Самые значительные, самые ценные мысли и поступки — это не те, которые на что-то опираются, а те, что прыгают, на свой страх и риск, в никуда — и существуют в полёте.

Надо бросаться в никуда, надо, надо. Даже не потому, чтобы это «гарантировало» какую-то значительность (ясно же, что прыжок в никуда ничего гарантировать не может и не должен), а просто потому, что шанс на настоящее — хоть какой-то, хоть самый маленький — обретается именно так. (При несомненно большем количестве шансов упасть да и разбиться.)

Настоящая, самая большая опора — в безопасности.

О формирующем

Ещё неизвестно, что нас больше воспитывает: люди (тексты, ситуации..) или наши проекции на них. Сильно подозреваю, что второе.

В некотором, очень осязаемом смысле «воспитывается» в нас то, что уже так или иначе есть. Мы берём — и развиваем в себе

затем до бог знает каких следствий — «своё», так или иначе нам соответствующее и нужное, даже если оно мучительно.

(Надо ли говорить о том, что и мучительность нужна? Что и она, как ни дико звучит, может быть своего рода условием внутреннего комфорта — показателем того, что «всё идёт как надо»? Но это уже предмет отдельного рассуждения.)

А что такое люди (тексты, ситуации...) «сами по себе» — боюсь, мы так никогда и не узнаем.

Этика осени

Воспитывает нас, в сущности, вообще всё, что с нами случается, тем более, если оно сильно нас затрагивает, но есть вещи, воспитывающие по преимуществу. Осень — несомненно одна из них.

Особенно — чистая, до невыносимого ясная, тёплая осень, какая стоит сейчас. По силе воздействия (причём именно на этически значимые «корешки» души) она сопоставима разве что с входящей в силу весной. Но весна всё-таки воздействует иначе: в ней по необходимости слишком сильна чувственная компонента. Отстранённая осень ухитряется потрясать умозрительно — и вовлекать притом в своё воздействие всю цельность нашего существа.

Такой осенью мучительно хочется быть «хорошей», быть вровень этой пронзительной чистоте, соответствовать ей внутренней строгостью, точностью, ясным порядком жизни.

Она учит ещё смирению — из-за невозможности участия. Кажется, нет ничего естественнее, чем броситься сейчас взахлёб ходить по этим солнечным улицам, разговаривать с ними собственными движениями, вбирать в себя всё, что ещё может сказать нам осенний мир перед тем, как окончательно погаснуть и оставить нас наедине с собой в зимней темноте — на долгие, долгие месяцы (ох, способствует интроверсии русский климат, за то и любим). Кажется ведь, что не только мы нуждаемся в осени, но и она нуждается в нас, что она неполна без нашего присутствия и

участия. А куда же тут пойдёшь, когда так запустишь работу, что только сидеть и, не отрываясь, доделывать её, пока не подвела кучу народу. И вот сидишь, смотришь в окно — и чувствуешь напряжённую дистанцию между собой и осенью. И соглашаешься — куда деваться — на горькую, жёсткую бедность, в которой остаёшься без участия в ней. (Хотя я по-прежнему убеждена, что есть ситуации, в которых хождение по улицам, может быть, полнее мышления. И даже так: оно — разновидность мышления. Не походишь по улицам, не повдыхаешь осенний воздух — иначе будешь думать: в другом ритме, с другими результатами, с иной степенью глубины.)

Мысль делает тело своим инструментом (летом им скорее завладевают и вертят чувства; да и душу прихватывают — и этому опыту тоже стоит поддаться). И это тоже — один из уроков осени, и его надо внимательно выслушать. Медленная осень вообще учит не торопиться.

Осень — наука дистанций, наука терпения.

Осень учит нас прощаться. Учит нас быть при этом свободными, лёгкими и прозрачными — не отделяя притом ни свободы, ни лёгкости от грусти. Учит нас отпускать уходящее в его свободу — в прошлое, в котором оно навсегда защищено, ничто его уже там не изменит. Она учит нас достоинству отказа.

Осень учит самодостаточности. Сбережению внутреннего тепла, чувству его ценности. Чувству ценности света во мраке.

Воспитывает уже само то, что она терпеливо возвращается каждый год, в обманчиво-прежнем облике: чтобы повторяли урок, обнаруживая в нём — как при перечитывании — всё новые подробности, выявляя в себе всё новые реакции на него. Чтобы проверяли и его, и себя.

Содержание

О карманной литературе	3
О чувстве текста	3
О смыслах неорганизованности	4
О смыслах повторения	4
О чужом	5
Об истоках консерватизма	5
Об освобождении от прошлого	7
Ещё о приметах взросления	7
О пластичности	9
О преодолении страха	9
О возрасте	10
Роман с убыванием	11
Сезонные смыслы	12
О метафизической оптике	13
Невроз интерпретации	13
О невозможности спокойствия	14
О критериях оценок	15
О производстве прошлого	15
О символогенезе	16
К энциклопедии запахов	16
К антропологии вещи	17
Дожить до вечера	18
Оправдание несоответствий	19
Олигография	20
О достоверности	20
К антропологии вещи	22
Оправдание навязчивостей	22
Психогеографическое	22
О потребности в неверии	23

Работа и я	26
...и наоборот	27
Тринадцатое ноября	28
Об искусстве дистанций	30
Об экзистенциальной ущербности	30
О части и Целом	31
Размашисто и необязательно	31
Об умозрении в ритмах	32
О счастии	33
Об интересном	35
Световая топография	35
Оправдание ноября	37
Лектомания	37
О добывании жизни	39
Из полуприснившегося	39
О тоске по точности	40
Сквозняк	41
Старость: личная версия	41
О страхе, вине и ответственности	41
О природе вины	42
О неуничтожимом	42
Прощание с ноябрём	42
О механизмах свободы	43
О единицах ответственности	43
Братство небессмертных	44
Об универсальности	46
Об этническом	48
О смирении	48
О качестве дней	49
Соматика смысла	49
Этическое бессознательное	49
О метафизичности этики	50
Об опыте	50
О видах свободы	50
О незащищённости	51

Об освобождающем	51
О самосозидании	52
Об изготовлении прошлого.....	52
Под грубую корою вещества.....	53
Что за дикое слово	58
О благодарности.....	58
О банальном.....	58
О фантомной религиозности.....	58
Об опыте.....	60
Прямая речь.....	60
О грусти, или Записки меланхолика.....	60
Об уме	61
О значительном.....	61
О времени перехода.....	62
Иные города.....	63
О сумчатости	64
Поэтика личности.....	64
Синяя крона, малиновый ствол.....	65
Климат и Психея	66
Под грубую корою вещества: центр и периферия....	66
Об устройстве мышления.....	67
Не зря.....	67
Значит, вы уже умерли	68
Чтобы расти ему в ответ	69
О видах ограниченности	70
О встроенных ограничителях.....	70
О формах роста	70
О глубине и лёгкости	71
Пешком.....	73
Ужели слово найдено?	74
Ономатология.....	74
Обещание весны.....	76
Нам целый мир чужбина	77
Об усиллии неусилия.....	77
О доверии.....	78

Об удовольствиях и смысле.....	78
О цельности	79
О смысле жизни.....	79
Об избыточности	80
Эстетика конспекта.....	81
О фотографии.....	81
К антропологии вещи	82
Anthropologia personalis.....	83
Кому ничто не мелко.....	83
Открытие повседневности.....	84
Об избыточности и освобождении.....	85
О простоте и сложности	86
О бесцельном.....	87
Вспомня прежнюю любовь.....	89
Прежде смысла её.....	91
О типах жизни	91
Номо (non) viator.....	91
О внутренних людях.....	92
Об адресованности.....	93
И о людях-стимулах	93
Ад — это тоже мы сами.....	94
О соучастии в творении.....	94
О цельности	95
Об универсальности.....	95
Черновик бытия	96
О повседневности	97
О работе забвения.....	97
О внутренних событиях	98
О непрямом уточнении.....	98
Брайль.....	99
О производстве опыта.....	99
Об инструментализации тревоги.....	100
Об исчезающем	100
Стимульный материал.....	100
Об инструментальности смысла.....	101

О природе слова	101
Интонации бытия.....	102
Упрямое: о красоте	102
Работа существования	102
О норме и форме.....	103
О напряжении защиты.....	103
О стыде	104
Об основах этики	104
О чужих пространствах.....	105
О полноте времён.....	106
О реальности	106
О любви и точности.....	107
Из навязчивого.....	107
Об экологии себя.....	109
То, что приводит душу в порядок.....	110
К сезонным смыслам.....	110
Биодицея.....	111
То, что вызывает чувственный трепет	112
О недодумываемом.....	112
Наука возвращенья.....	113
Слово о сочувствии и благодати.....	113
«И тай.. »	116
О вседневниковости	116
Ясность-вопреки.....	117
О природе смысла	118
О ценностях.....	121
Репетиция небытия.....	122
Литература самоописания и производство дистанций	123
Mythologia personalis.....	124
К изготовлению смысла	125
Оправдание беспорядка.....	126
Об истоках консерватизма.....	126
К этике жары.....	127
О перечитывании пространств: праздник прощания	128
Упражнение в утрате.....	129

Метафизика на ощупь.....	130
Об организованности.....	131
О (не)прямом видении.....	132
Механика возраста.....	132
О простоте и сложности	133
Об ответственности.....	134
О красноречии.....	134
Прыгать надо.....	135
О формирующем.....	135
Этика осени.....	136

ОЛЬГА БАЛЛА
УПРАЖНЕНИЯ В БЫТИИ

*Издание не подлежит маркировке в соответствии
с п. 1 ч. 2 2 ст. ФЗ № 436-ФЗ*

Выпускающий редактор *А.В. Безрукова*
Компьютерная верстка *В.Н. Спиридоновой*
Корректор *О.Н. Беликова*
Дизайн обложки *Ю.А. Натенрова*

Подписано в печать 25.01.2016.
Формат 60х90/16. Бумага офсетная
Гарнитура «Мысль». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9. Тираж 300 экз.

ООО Издательство «Совпадение»
123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 26-2, оф. 253
info@sovpadenie.com
Сайт: www.sovpadenie.com